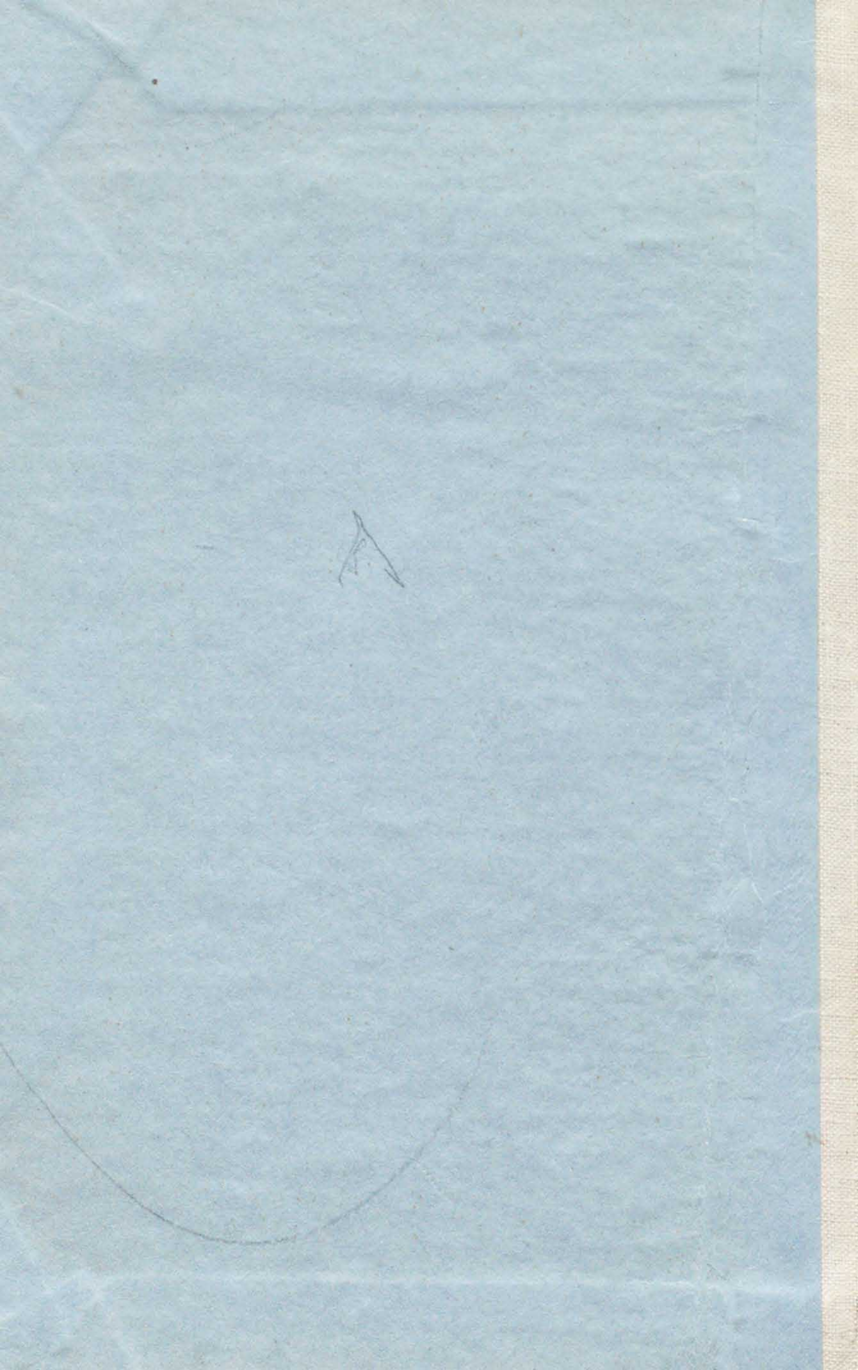
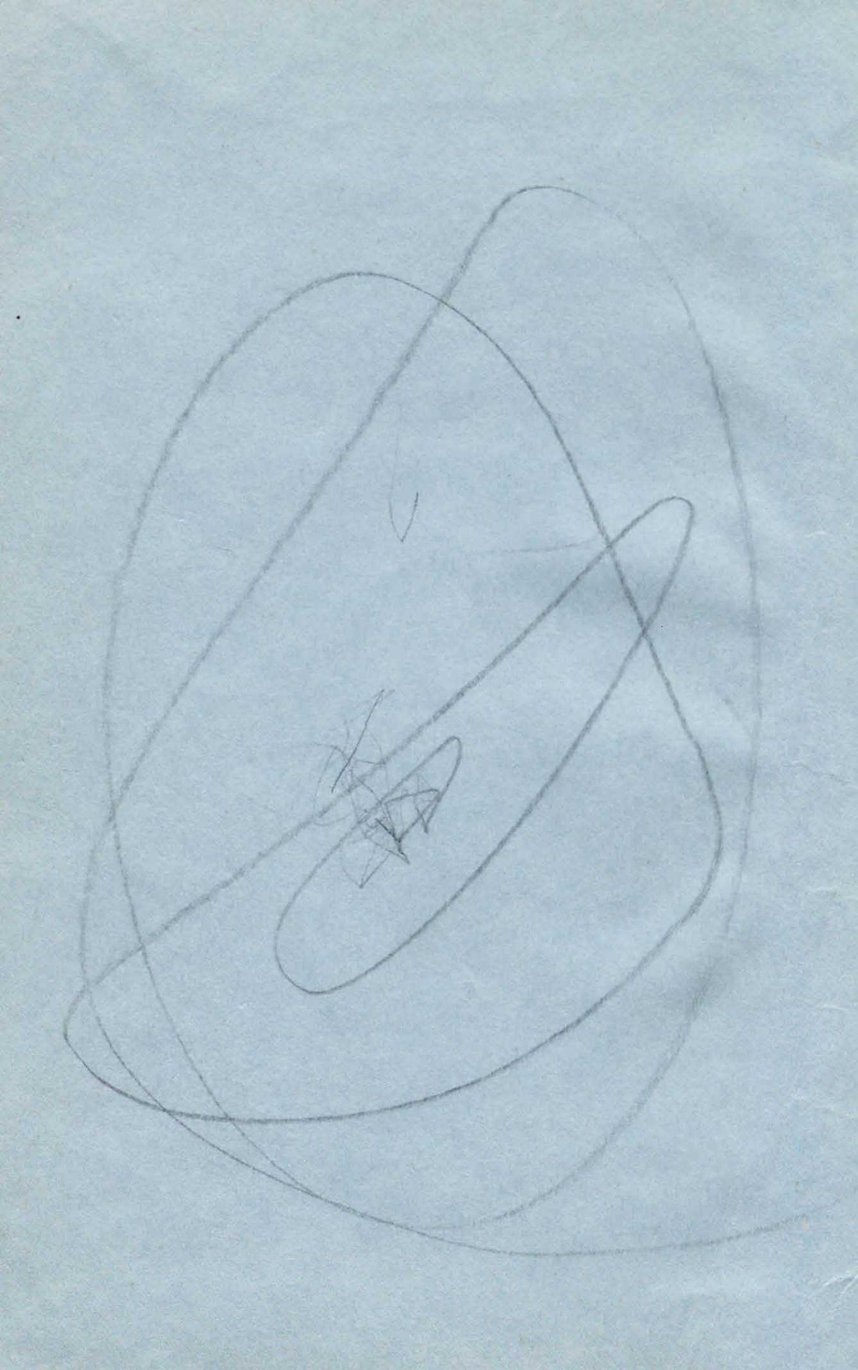

V 419/578
1-78/12636
1-78/12036






КОНСТ. ВАГИНОВ
КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ
ПРИБОЙ



Константин Вагинов

# Козлиная Песнь

Роман






1928

ПРИБОЙ / ЛЕНИНГРАД

ОБЛОЖКА РАБОТЫ

Б. ТАТАРИНОВА






Ленинградский Областлит № 11972.
12³/₄ п. Тираж 3000. (X, 20. 24525/Пр.)

# КОЗЛИНАЯ ПЕСНЬ

# ПРЕДИСЛОВИЕ

## ПРОИЗНЕСЕННОЕ ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ АВТОРОМ

Петербург окрашен для меня с некоторых пор в зеленоватый цвет, мерцающий и мигающий, цвет ужасный, фосфорический. И на домах, и на лицах, и в душах дрожит зеленоватый огонек, ехидный и подхихикивающий. Мигнет огонек — и не Петр Петрович перед тобой, а липкий гад; взметнется огонек — и ты сам хуже гада; и по улицам не люди ходят: заглянешь под шляпку — змеиная голова; всмотришься в старушку — жаба сидит и животом движет. А молодые люди каждый с мечтой особенной: инженер обязательно хочет гавайскую музыку услышать, студент — поэффектнее повеситься, школьник — ребенком обзавестись, чтоб силу мужскую доказать. Зайдешь в магазин — бывший генерал за прилавком стоит и заученно улыбается; войдешь в музей — водитель знает, что лжет, и лгать продолжает. Не люблю я Петербурга, кончилась мечта моя.

# ПРЕДИСЛОВИЕ

## ПРОИЗНЕСЕННОЕ ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ АВТОРОМ

Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается — автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер. Покажешь ему гробик — сейчас постукает и узнает, из какого материала сделан, как давно, каким мастером, и даже родителей покойника припомнит. Вот сейчас автор готовит гробик двадцати семи годам своей жизни. Занят он ужасно. Но не думайте, что с целью какой-нибудь гробик он изготовляет, просто страсть у него такая. Поведет носиком — трупом пахнет; значит, гроб нужен. И любит он своих покойников, и ходит за ними еще при жизни, и ручки им жмет, и заговаривает, и исподволь доски заготовляет, гвоздики закупает, кружев по случаю достает.

## Глава I
## Тептёлкин

В городе ежегодно звездные ночи сменялись белыми ночами. В городе жило загадочное существо — Тептелкин. Его часто можно было видеть идущего с чайником в общественную столовую за кипятком, окруженного нимфами и сатирами. Прекрасные рощи благоухали для него в самых смрадных местах, и жеманные статуи, наследие восемнадцатого века, казались ему сияющими солнцами из пентелийского мрамора. Только иногда подымал Тептелкин огромные, ясные глаза свои — и тогда видел себя в пустыне.

Безродная, клубящаяся пустыня, принимающая различные формы. Подымется тяжелый песок, спиралью вьется к невыносимому небу, окаменевает в колонны, песчаные волны возносятся и застывают в стены, приподнимется столбик пыли, взмахнет ветер верхушкой — и человек готов, соединятся песчинки, и вырастут в деревья, и чудные плоды мерцают.

Одним из самых непрочных столбиков пыли была для Тептелкина Марья Петровна Далматова. Одетая в шумящее шелковое платье, являлась она ему чем-то неизменным в изменчивости. И, когда он встречался с ней, казалось ему, что она соединяет мир в стройное и гармоническое единство.

Но это бывало только иногда. Обычно Тептелкин верил в глубокую неизменность человечества: возникшее раз, оно, подобно растению, приносит цветы, переходящие в плоды, а плоды рассыпаются на семена.

Все казалось Тептелкину таким рассыпавшимся плодом. Он жил в постоянном ощущении разлагающейся оболочки, сгнивающих семян, среди уже возносящихся ростков.

Для него от сгнивающей оболочки поднимались тончайшие эманации, принимавшие различные формы.

В семь часов вечера Тептелкин вернулся с кипятком в свою комнату и углубился в бессмысленнейшее и ненужнейшее занятие. Он писал трактат о каком-то неизвестном поэте, чтоб прочесть его кружку засыпающих дам и восхищающихся юношей. Ставился столик, на столик лампа под цветным абажуром и цветок в горшочке. Садились полукругом, и он то поднимал глаза в восхищении к потолку, то опускал к исписанным листкам. В этот вечер Тептелкин должен был читать. Машинально взглянув на часы, он сложил исписанные листки и вышел. Он жил на второй улице Деревенской Бедноты. Травка росла меж камней, и дети пели непристойные песни. Торговка блестящими семечками долго шла за ним и упрашивала его купить остаток. Он посмотрел на нее, но ее не заметил. На углу он встретился с Марьей Петровной Далматовой и Наташей Голубец. Перламутровый свет, казалось ему, исходил от них. Склонившись, он поцеловал у них ручки.

Никто не знал, как Тептелкин жаждал возрождения. — Жениться хочу, — часто шептал он, оставаясь с квартирной хозяйкой наедине. В такие часы лежал он на своем вязаном голубом одеяле, длинный, худой, с седеющими сухими волосами. Квартирная хозяйка, многолюбивая натура, расплывшееся горой существо, сидела у ног его и тщетно соблазняла пышностью своих форм. Это была сомнительная дворянка, мнимо владевшая иностранными языками, сохранившая от мысленного величия серебряную сахарницу и гипсовый бюст Вагнера. Стриженая, как почти все женщины города, она, подобно многим, читала лекции по истории культуры. Но в ранней юности она увлекалась оккультизмом и вызывала розовых мужчин, и в облаке дыма голые розовые мужчины ее целовали. Иногда она рассказывала, как однажды нашла мистическую розу

на своей подушке и как та превратилась в испаряющуюся слизь.

Она подобно многим согражданам любила рассказывать о своем бывшем богатстве, о том, как лакированная карета, обитая синим стеганым атласом, ждала ее у подъезда, как она спускалась по красному сукну лестницы и как течение пешеходов прерывалось, пока она входила в карету.

— Мальчишки, раскрыв рты, — рассказывала она, — глазели. Мужчины, в шубах с котиковыми воротниками, осматривали меня с ног до головы. Мой муж, старый полковник, спал в карете. На запятках стоял лакей в шляпе с кокардой, и мы неслись в императорский театр.

При слове императорский нечто поэтическое просыпалось в Тептелкине. Казалось ему — он видит, как Авереску в золотом мундире едет к Муссолини, как они совещаются о поглощении Юго-Славского государства, об образовании взлетающей вновь Римской Империи. Муссолини идет на Париж и завоевывает Галлию. Испания и Португалия добровольно присоединяются к Риму. В Риме заседает Академия по отысканию наречия, могущего служить общим языком для вновь созданной империи, и среди академиков — он, Тептелкин. А хозяйка, сидя на краю постели, все трещала, пока не вспоминала, что пора итти в Политпросвет. Она вкладывала широкие ступни в татарские туфли и, колыхаясь, плыла к дверям. Это была вдова капельмейстера Евдокия Ивановна Сладкопевцева.

Тептелкин поднимал свою седеющую, сухую голову и со злобой смотрел ей вслед.

«Никакого дворянского воспитания, — думал он. — Пристала ко мне, точно прыщ, и работать мешает».

Он вставал, застегивал желтый китайский халат, купленный на барахолке, наливал в стакан холодного черного чаю, размешивал оловянной ложечкой, доставал с полки томик Парни и начинал сличать его с Пушкиным.

Окно раскрывалось, серебристый вечер рябил, и казалось Тептелкину: высокая, высокая башня, город спит, он, Тептелкин, бодрствует. «Башня — это культура, — размышлял он, — на вершине культуры — стою я».

— Куда это вы все спешите, барышни? — спросил Тептелкин, улыбаясь. — Отчего не заходите на наши собрания? Вот сегодня я сделаю доклад о замечательном поэте, а в среду, через неделю, прочту лекцию об американской цивилизации. Знаете, в Америке сейчас происходят чудеса; потолки похищают звуки, все жуют ароматическую резину, а на заводах и фабриках перед работой орган за всех молится. Приходите, обязательно приходите.

Тептелкин солидно поклонился, поцеловал протянутые ручки, и барышни, стуча каблучками, скрылись в пролете.

Гулял ли Тептелкин по саду над рекой, играл ли в винт за зеленым столом, читал ли книгу, — всегда рядом с ним стоял Филострат. Неизреченной музыкой было полно все существо Филострата, прекрасные юношеские глаза под крылами ресниц смеялись, длинные пальцы, унизанные кольцами, держали табличку и стиль. Часто шел Филострат и как бы беседовал с Тептелкиным.

— Смотри, — казалось Тептелкину, говорил он, — следи, как Феникс умирает и возрождается.

И видел Тептелкин эту странную птицу с лихорадочными женскими ориентальными глазами, стоящую на костре и улыбающуюся.

Иногда Тептелкина навещал сон: он сходит с высокой башни своей, прекрасная Венера стоит посредине пруда, шепчется длинная осока, восходящая заря золотит концы ее и голову Венеры. Чирикают воробьи и прыгают по дорожкам. Он видит — Марья Петровна Далматова сидит на скамейке и читает «Каллимаха» и подымает полные любви очи.

— Средь ужаса и запустения живем мы, — говорит она.

## ИНТЕРМЕДИЯ

На проспекте 25 Октября благовоспитанные молодые люди, Костя Ротиков и Миша Котиков, прислонившись к чугунным перилам, протянули друг другу зажженные спички.

В прежние времена, в более поздний час не менее благородные молодые люди мчали венгерку и мазурку, подыгрывая музыку на губах. Как известно, в прежние времена проспект пустел совершенно после трех часов ночи. Фонари гасли, и ищущие субъекты и играющие задами женщины исчезали в соответствующих заведениях.

Но сейчас около девяти часов. По крайней мере часы на бывшей городской думе, а теперь на третьеразрядном кинематографе, показывают без десяти минут девять. Но молодые люди стояли не против бывшей городской думы, а на мосту под вздыбленным конем и голым солдатом, так, по крайней мере, казалось им.

Глава II

## Детство и юность неизвестного поэта

1916 г. — На этом-то проспекте, на западный манер провел неизвестный поэт свою юность. Все в городе ему казалось западным — и дома, и храмы, и сады, и даже бедная девушка Лида казалась ему английской Анной или французской Миньоной.

Худенькая, с небольшим белокурым хохолком на голове, с фиалковыми глазками, она бродила между столиков в кафе под модную тогда музыку и подсаживалась к завсегдатаям нерешительно. Некоторые ее угощали кофе, сваренным вместе со сливками, другие шоколадом с пеной и двумя бисквитами, третьи — просто чаем с лимоном. Люди во фраках с салфеткой подмышкой, проходя, обращались к ней на ты и, склонившись, шептали на ухо непристойность.

В этом кафе молодые люди мужеского пола уходили в мужскую уборную не затем, зачем ходят в подобные места. Там, оглянувшись, они вынимали, сыпали на руку, вдыхали и в течение некоторого времени быстро взмахивали головой, затем, слегка побледнев, возвращались в зало. Тогда зало переменялось. Для неизвестного поэта оно превращалось чуть ли не в Авернское озеро, окруженное обрывистыми, поросшими дремучими лесами берегами, и здесь ему как-то явилась тень Аполлония.

1907 г. — Толпы гуляющих двигались неторопливо. В белоснежных, голубых, розовых колясках сидели, лежали, стояли дети. Влюбленные гимназисты провожали влюбленных гимназисток. Продавцы предлагали парниковые, пахнущие дешевыми духами, фиалки и качающиеся нарциссы. Буржуа возвращались с утренней прогулки на острова — в ландо, обитых синим или коричне-

вым сукном, в шарабанах, в колясках, запряженных вороной или серой парой. Изредка мелькали кареты, в них виднелись старушечьи носы и подбородки. Они подъезжали, сбегал швейцар и почтительно открывал дверцу. Неизвестный поэт часто ездил в таких экипажах. Сидела мать, женщина задумчивая, бледная, на козлах вырисовывался круп кучера, на коленях у матери лежали цветы или коробка конфект, мальчику было лет семь, любил он балет, любил он лысые головы сидящих впереди и всеобщую натянутость и нарядность. Он любил смотреть, как мама пудрится перед зеркалом, перед тем как ехать в театр, как застегивает обшитое блестками платье, как она открывает зеркальный створчатый шкаф и душит платок. Он, одетый в белый костюм, обутый в белые лайковые сапожки, ждал, когда мама окончит одеваться, расчешет его локоны и поцелует.

1913 г. — Семья сидела за круглым столом, освещенная морозным, красным солнцем. В соседней комнате топилась печь, и слышно было, как дрова трещали. За окнами была устроена снежная гора, и видно было, как дворовые дети неслись с высоты на санках.

После завтрака будущий неизвестный поэт пошел с гувернером в банкирскую контору Копылова. Копылов издавал журнал «Старая монета». У него в конторе стояли небольшие дубовые шкафики с выдвижными полочками, обитыми синим бархатом, на бархате лежали стратеры Александра Македонского, тетрадрахмы Птоломеев, золотые, серебряные динарии римских императоров, монеты Боспора Киммерийского, монеты с изображениями: Клеопатры, Зенобии, Иисуса, мифологических зверей, героев, храмов, треножников, трирем, пальм; монеты всевозможных оттенков, всевозможных размеров, государств — некогда сиявших, народов — некогда потрясавших мир или завоева-

ниями, или искусствами, или героическими личностями, или коммерческими талантами, а теперь несуществующих. Гувернер сидел на кожаном диване и читал газету, мальчик рассматривал монеты. На улице темнело. Над прилавком горела лампочка под зеленым колпаком. Здесь будущий неизвестный поэт приучался к непостоянству всего существующего, к идее смерти, к перенесению себя в иные страны и народности. Вот, взнесенная шеей, голова Гелиоса, с полуоткрытым, как бы поющим ртом, заставляющая забыть все. Она наверно будет сопутствовать неизвестному поэту в его ночных блужданиях. Вот храм Дианы Эфесской и голова Весты, вот несущаяся Сиракузская колесница, а вот монеты варваров, жалкие подражания, на которых мифологические фигуры становятся орнаментами, вот и средневековье, прямолинейное, фанатическое, где вдруг, от какой-нибудь детали, пахнёт, сквозь иную жизнь, солнцем.

И все новые и новые появляются ящички.

Гувернер прочел всю газету. За окнами горят фонари.

— Пора, — говорит он, — не то мы опоздаем к обеду.

Купленные монеты опускаются в отдельные конвертики, конвертики в большой конверт.

Придя домой, мальчик доставал лупу, огромную как круглое окно, садился на дубовый табурет перед столом, раскладывал приобретенные монеты и совершал путешествия во времени, пока не проходил мимо комнаты отец в бухарском халате в столовую и горничная не забегала сказать:

— Кушать подано.

После обеда отец отправлялся в кабинет, обставленный книжными шкафами, соснуть часок-другой на ковровом диване. В шкафах помещались великолепные книги, которые можно было встретить в любом интеллигентном семействе: приложение к Ниве, страшнейшие романы Крыжанов-

ской, возбуждающий бессонницу граф Дракула, бесчисленный Немирович-Данченко, иностранные беллетристы на русском языке. Были и научные книги: «Как устранить половое бессилие», «Что нужно знать ребенку», «Трехсотлетие Дома Романовых».

В девять часов вечера отец облекался в форму, душился и уезжал в клуб.

После отъезда отца в кабинете появлялся будущий неизвестный поэт, садился на диван, на ковре расстилалась карта, на диване разбрасывался Гиббон и всяческая археология. В соседней комнате, в гостиной, мать играла «Молитву девы». В своей комнате младший брат читал Нат-Пинкертона, в комнате неизвестного поэта гувернер надевал сапоги, напевая шансонетку, — он шел поразвлечься после трудового дня; на кухне денщик сажал на колени горничную, та — ржала.

1917 г. — Неизвестному поэту было 16 лет, Лиде 18, когда они встретились. Она тогда лишь изредка появлялась в кафе. Иногда она говорила, что она гимназистка, и вспоминала поездку на лихаче, тишайшую ночь, проносящиеся дома, мелькающие деревья и кабинет ресторана, офицеров, звон бокалов и как она плакала на диване, утирая слезы краем черного передника. Иногда она рассказывала, что была влюблена в студента, белоподкладочника, и как он уступил ее своим товарищам.

Иногда она говорила, что ее обесчестил женатый человек, лицо, уважаемое в городе, с длинной седой бородой, любящее гулять вечером по Летнему саду.

Неизвестный поэт оторвался от чтения, от расставления книг по полкам, от рассматривания монет. Был третий час ночи. Мимо портьер, наглухо опущенных, по черной лестнице он сошел на пустынный двор, ослепительно освещен-

ный огромным висячим фонарем. Удивленный дворник выпустил его из-под ворот и видел, как юноша убегает по широкой улице по направлению к Невскому. Шел дождь мелкий, косой. На ступеньках подъезда, разложив подаренные им ей в прошлую ночь атласные карты, сидела Лида, прислонившись к дверям. Она дремала, полураскрыв рот. Неизвестный поэт сел рядом, посмотрел на ее девичье лицо, на тающий снег вокруг, на часы над головой, достал белое, искрящееся из кармана, отвернулся к стене, особое звучание, похожее на протяжное «о», переходящее в «а», казалось ему, понеслось по улицам. Он видел — дома сузились и огромными тенями пронзили облака. Он опустил глаза, — огромные красные цифры фонаря мигают на панели. Два — как змея, семь — как пальма.

Разложенные карты притягивают его глаза. Фигуры оживают и вступают с ним в неуловимое соотношение. Он связан с картами, как актер с кулисами; он быстро будит Лиду и, по странной иронии, начинает играть с ней в дурачка; пятерки карт дрожат в их руках, пока в глазах не темнеет, ветер мешает, они отворачиваются к стене; дождь переходит в порхающий мягкий тающий снег. Они защищены навесом.

Карты ему кажутся ужасом и пустотой. Скоро начнет просыпаться город.

— В чайную, в чайную скорей! — говорит Лида, — я совсем застыла за эту проклятую ночь! Неужели ты не мог притти раньше и увезти меня в гостиницу! Я бы проспала как убитая! я ведь третью ночь на улице! Нет ли у тебя денег, может быть, мы найдем пустую комнату.

— Что ты, Лида! в пять часов все гостиницы переполнены, нас никуда не впустят!

— Тогда идем скорей, ,скрей в чайную. Меня мучит тоска. Боже мой, скорей скорей идем в чайную!

Он посмотрел на ее совершенно белое лицо, на расши-

ренные зрачки; сколько внутренних лет сидит он здесь, что означает фонарь, что знаменует собой снег и что́ значит он, появившийся на проспекте?

Цветы любви, цветы дурмана . . .

неожиданно запела Лида, отступив от подъезда. Проходил какой-то забулдыга; он посмотрел на них иронически. Неизвестный поэт и Лида, сквозь завесу колющего снега, пошли. Карты лежали забытые на подъезде.

Ночная чайная гремела. Проститутки в платках, в ситцевых платьях, смотрели нагло и вызывающе. На бледных лицах непойманных воров мигали глаза и бегали по углам, на круглых столах стоял чай, невыносимого, как заря, цвета. Неизвестный поэт и Лида появились в дверях. Ночь отошла.

Проспект 25 Октября носил в те времена иное название. Украшенный круглыми ослепительными электрическими фонарями, в то время, как окружающие его улицы и переулки мерцали от газового освещения, простирал он между домами дворцы, церкви и казенные здания. Сквозь стекла окон и дверей можно было видеть белоснежные лестницы с коврами нежнейшей окраски, портьеры, играющие шелками, столики из всевозможных материалов, кресла и диваны всевозможных форм. Иногда, в длинных залах, под потолками, с несущимися по воздуху амурами, молодые люди просиживали ночи напролет, глядя помертвевшими глазами в пространство.

Сергей К. сидел в своей комнате, разделенной надвое шкафами с французскими книгами. В столовой, сохранившей следы восемнадцатого века, было тихо — семья, вплоть до бабушки, уже отпила вечерний чай и разбрелась по своим комнатам. Бабушка должно быть в это время снимала свою наколку перед зеркалом, или, может быть, мазала

руки на ночь какой-нибудь пастой, или освобождала себя от корсета с помощью своей горничной; мать должно быть писала своей подруге в Париж, или, может быть, перечитывала свой девичий альбом, или распускала волосы перед зеркальным шкафом, в то время как ее горничная опускала шторы. Отец в это время подъезжал к яхт-клубу на Морской, чтоб провести ночь за зеленым столом, или, может быть, входил в ресторан Кюба, чтоб встретиться там с одной из полночных див.

Часы в столовой пробили одиннадцать. Раздался звонок, вошел неизвестный поэт, и друзья отправились.

Луна и звезды прояснились над городом. Поскрипывал снег, гудели белые от света, наполненные земгусарами, трамваи, кинематографы предлагали зрелища, личности под воротами — порнографические книжки и карточки, трусцой на извозчиках ехали парочки, таксомоторы двигались, приготовляясь нестись.

На панелях кучками стояли, ходили, подтанцовывали женщины с раскрашенными лицами.

Неизвестный поэт остановился.

— Вспомни вчерашнюю ночь, — повернул он свое, с нависающим лбом, с атрофированной нижней частью, лицо к Сергею К., — когда Нева превратилась в Тибр, по садам Нерона, по Эсквилинскому кладбищу мы блуждали, окруженные мутными глазами Приапа. Я видел новых христиан, кто будут они? Я видел дьяконов, раздатчиков хлебов, я видел неясные толпы, разбивающие кумиры. Как ты думаешь, что это значит, что это значит?

Неизвестный поэт смотрел в даль.

На небе перед ним постепенно выступал страшный, заколоченный, пустынный, поросший травой город — друзья шли по освещенной, жужжащей, стрекочущей, напевающей, покрикивающей, позванивающей, поблескивающей, поигрывающей улице, среди ничего не подозревавщей толпы.

1918 — 1920 гг. — На снежной горе, на Невском, то скрываемый вьюгой, то вновь появляющийся, стоит неизвестный поэт: за ним — пустота. Все давно уехали. Но он не имеет права, он не может покинуть город. Пусть бегут все, пусть смерть, но он здесь останется и высокий храм Аполлона сохранит. И видит он — вокруг него образуется воздушный снежный храм и он стоит над расщелиной.

Неизвестный поэт и Сергей К. шли по коврам фойе на цыпочках. С некоторых пор они чувствовали боль в затылках.

На постах стояли милиционерки, театрально отставив ножку, лущили семечки и переругивались с танцующими личностями у фонарей.

Распускалась темная ночь позднего лета. Уже не луна и одна звезда, а луна и тысячи звезд, голубоватых, красноватых, желтоватых, освещали город.

По этим-то торцам и панелям пробегала Лида, уже босая и подурневшая.

«Чорт возьми, — думала она, — вот жизнь и кончается. Где бы на чулки и туфельки взять. Так ведь и на понюшку не заработаешь».

Она бросилась в чайную.

— Пошла вон, — толкнул ее в грудь человек с салфеткой, — явилась шляться, из-за вас еще заведение закроют.

Неизвестный поэт с приятелем появились из-под ворот.

— Пойдем, Сережа, в Летний сад, — сказал он, — посидим на скамеечке.

— Ты! — вскрикнула Лида. Но через секунду отступила. — Извините, я помешала вам.

Приближался патруль.

Лида бросилась в ворота ближайшего дома.

Молодые люди скрылись на Невском.

## Глава III

## Междусловие

Я сижу у моего друга, известного художника. Он спит за три комнаты отсюда. Комната, где я нахожусь, выходит ротондой на улицу. Сейчас три часа ночи. Электрические лампочки, прикрепленные к трамвайному столбу, горят внизу. Из окон крыши домов не видны, они сливаются с небом, а за домами, я чувствую, течет Нева, — голубая.

Ночь темна. Сейчас третий час ночи. Любимый час моих героев. Час расцвета неизвестного поэта, его способностей и видений. Я снова вижу: сквозь лютый мороз, по снежным ухабам улиц, под ужасающий ветер, от которого омертвевает лицо, он ищет опьянения, не как наслаждения, а как средства познания, как средства ввергнуть себя в то священное безумие (amabilis insania), в котором раскрывается мир, доступный только прорицателям (vates).

Окна закрыты. Дома опустошены. Все дальше от него отступает священное безумие. Нет больше пальм, платанов, кипарисов. Нет больше портиков, нет водометов. Нет больше великой свободы духа. Нет больше бесед под открытым, черным или златоцветным небом. Я вижу — среди разрушающихся домов он прощается со своими друзьями. Вот сидит на камне, бегая глазами, как сумасшедший, один из них. Вот другой неподвижно лежит на земле. Он чувствует, что он умер. Вот третий взбирается по разрушенной лестнице в сквозном доме, чтоб с высоты, в последний раз, посмотреть на город. Вот неизвестный поэт стоит, прислонившись к колонне. Разбитая капитель с листьями аканта доходит ему до колен; он слышит, как в соседнем доме кричит петух. Он вспоминает кошек, уходящих умирать в такие же запущенные здания. Тихо появляется одна, вытягивает шею, волочит задние ноги. За ней другая,

мокрая и дрожащая, не удерживается, падает с лестницы в черный провал. Третья, потухшими глазами, тщетно поискав вокруг, силится свернуться в клубок и не успевает.

Сейчас должно быть три часа. Темно, совсем темно. Внизу женщина играет на рояле. Я уверен, что это женщина. Я думаю, ей кажется, что нежный друг лежит у ее ног. Я думаю, она распустила волосы. Я раскрываю диалог Барталомео Таеджо «L'Humore» и читаю рассуждения в похвалу и в хулу вину. О дружбе, существующей между вином и поэзией. Я возвращаюсь к первой странице, где описывается день жатвы винограда в прелестнейшем селении Робекко. Девушки у давилен воспевают драгоценность лозы, на дорогах крестьяне, повозки, лохани с виноградом или вином. Другие поселяне идут от дороги с корзинами, котомками, освободить кусты от плодов. В опьяняющем воздухе движутся толпы галерников, входя пением и игрою на гитаре в сердца, полные любви, поселянок.

Я вспоминаю страницу из романа Лонга—«была уже осень в своей силе, и время жатв наступило. Каждый в полях»...

И в окне мелькнула тень Афродиты.

Я подхожу к окну. Как тихо все! Какой желтый свет бросают вниз на часть улицы маленькие лампочки, прикрепленные к перекладинам на трамвайных столбах! И как грустно идет прохожий, подняв плечи, по панели! Куда идет он? Может быть, с ним были знакомы мои герои. Может быть, это один из моих героев, случайно уцелевший.

Небо посветлело. Крыши домов видны, с трубами и громоотводами. Цокают копыта. За мной на стене висит карта, сохранившаяся от времен европейской войны, должно быть лет двенадцать, тринадцать тому назад ее утыкала русскими, французскими, итальянскими, английскими флажками вся семья. Гордилась успехами армии, горевала при отступлениях.

## Глава IV

## Тептёлкин и неизвестный поэт

После того, как барышни, стуча каблучками, скрылись в пролете, Тептелкин постоял, посмотрел на то место, где только-что они протягивали ручки, и быстро пошел, спотыкаясь. Повидимому, он задумался.

— Как вы думаете...— по рассеянности остановился Тептелкин.

Книжник улыбнулся.

— Всегда вы шутите, вместо того, чтобы поздороваться по-человечески. Садитесь, потолкуем.

Но Тептелкин стал рассматривать книги, развешанные на решотке сада при Мариинской больнице.

— Если бы у вас были деньги, вы, пожалуй, всю мою библиотеку купили бы, — и уличный торговец стал показывать Тептелкину книги.

Действительно книги были замечательные: почти лубочный, недавний французский перевод Марка Аврелия был переплетен в роскошный пергамент, тисненый золотом, Зодиак жизни — карманная книжечка с синим обрезом с прекрасным орнаментом на заглавном листе уносила в позднее Возрождение.

— Нет ли у вас «Утешения философии» Боэция? — спросил Тептелкин. — Я бы взял у вас в долг.

Книжники охотно давали книги в долг Тептелкину, с которым можно было посидеть и поговорить.

Боэция не оказалось.

— Но как же совместить это с концепцией неизвестного поэта, что большевизм огромен, что создалось положение, подобное первым векам христианства.

И всю дорогу старался Тептелкин выйти из этого затруднения.

— Всегда новая религия появляется на периферии культурного мира, — размышлял он. — Христианство появилось на периферии греко-римского мира в Иудее нищей, печальной, узкой и косной духом. Ислам у номадов, а не в цветущем Иемене, где бьют фонтаны, где ароматные плоды колышатся и наполняют воздух дурманом, где женщины, при пробуждении, сладострастно потягиваются и лениво зевают. Фу, какие нечистые мысли, — отвлекся Тептелкин, — точно я о женщинах мечтаю.

Он задумался.

— Даже во сне, иногда, появится женская грудь и вздохнет рядом. Черные глаза, кажется, смотрят в душу, обнимешь пустоту, замрешь и ждешь чего-то. — И Тептелкин увидел свою комнату и розу, подаренную ему в прошлую среду Марьей Петровной Далматовой. — Страшно жить ей должно быть, — подумал он о Марье Петровне, — страшно. Мы люди культурные, мы все объясним и поймем. Да, да, сначала объясним, а потом поймем — слова за нас думают. Начнешь человеку объяснять, прислушаешься к своим словам — и тебе самому многое станет ясно.

И он вспомнил о неизвестном поэте. Любит он здорово неизвестного поэта! Напишет неизвестный поэт, не думая, две строчки, а выйдет умно, эх чорт возьми, как умно. И будет в этих словах гибель и великая страсть и жалоба на заходящее навек солнце. За неизвестного поэта слова сами думают. О, как умел обращаться со стихами неизвестного поэта Тептелкин! Каким многообилием смысла раскрывались для него метафоры неизвестного поэта! Казалось ему, разрушается государство, а чистый юноша поет о свободе духа, поет скрытно, как бы стыдясь, а все слушают и хвалят за непонятные метафоры, за сияние, возникающее от сопоставления слов.

Утром того же дня казалось неизвестному поэту, что он проснулся в доме терпимости: одетые гусарами, турчанками, польками, женщины сидят на полу и играют в карты; тапер, взмахивая шевелюрой, ударяет по клавишам. Ходят драгуны, позванивая шпорами. Улан поручик сидит на диване и пишет своей сестре письмо в стихах.

— Я — это мой отец, — подумал неизвестный поэт и взглянул на висевшую на стене картину, — грудастая женщина в пышных юбках, оклеенных звездами, лежала на диване, закатив глаза. — Я, — раскинул руки неизвестный поэт, — это мой отец в девяностых годах, в каком-то провинциальном городе, потому что в Петербурге совсем другие дома терпимости: львы, мраморные лестницы, швейцары с галунами, лакеи в атласных панталонах, оркестр человек в пятнадцать, прекрасные дамы в бальных туалетах.

— Скри-кри-ра-ра-ру-ру, играл оркестр.

Казалось неизвестному поэту, что он — его дед, огромный, представительный, сидит в ложе; на барьере лежит шелковая афиша, обшитая мелкими кружевами; на сцене — Людовик XIII что-то говорит Ришелье. Театр деревянный, а вокруг театра деревянные домики и снега, снега... — Енисейск, — подумал неизвестный поэт. — Я — мой дед, городской голова Енисейска.

В сумраке он почувствовал приближение тройки. Будто он стоит на крыльце и слышит бубенчики, а потом удары подков, а потом и ржание, а потом голоса девичьи: — «Приготовлен ли зал, где лакеи, отчего нет огней?»

И видит, лакеи из дома церемонно выходят. Раздается музыка бальная, дамы с шлейфами поворачиваются — а за окнами ночка снежная, ночка снежная, безмятежная, и стоит он и смотрит в окно — внизу аллея статуй, а вдали, в городе, снежная вьюга поет:

Где вы оченьки, где вы светлые.
В переулках ли, темных уличках
Разбежалися, да повернулися,
Да кровавой волной поперхнулися.
Негодяй на крыльце
Точно яблонь стоит,
Вся цветущая,
Не погиб он с тобой
В ночку звездную.
Ты кричала, рвалась
Бесталанная.
Один — волосы рвал,
Другой — нож повернул —
За проклятый, ужасный сифилис.

— Кой чорт, — вскричал неизвестный поэт, — не жена она мне была, не любовница и не знаю я, был ли у ней сифилис.

Злой поднялся с белоснежной постели и пошел в Эрмитаж статуи рассматривать. В нижнем помещении чувствует, как он сам склоняется над собой и поет:

А друзья его все гниют давно,
Не на кладбищах, в тихих гробиках,
Один в доме шатается,
Между стен сквозных колыхается,
Другой в реченке купается,
Под мостами плывет, разлагается,
Третий в комнате, за решоткою
С сумасшедшими переругивается.

Проснулся неизвестный поэт. Было 1-ое мая.

«Приятно, — подумал он, — четыре года как я порвал с ночью, с освещенным и потухшим городом, с ночными мерцающими толпами, с предвещаниями».

## Глава V

## Философия Асфоделиева

Странный Тептелкин, — болтали барышни, идя по Кирочной улице. Девственник, наверно. Женить его надо, а то пропадет без толку. Хочешь, я его за тебя выдам замуж? — подумав засмеялась Марья Петровна Далматова. — Будет тебе он ножки целовать, работать на тебя как вол, а ты — на кровати, вечно без белья лежать и романы перелистывать.

— Я хочу любви, чтобы всюду цветы забрезжили, чтоб мир для меня прояснился. А то, чорт знает что вокруг, — вздохнула Наташа.

— Ничего, кутнем сегодня, почитают нам стишки, угостят вином, целовать будут, — рассмеялась Муся.

— Но ведь они прохвосты, — прервала ее смех Наташа.

— Ничего, — прыснула Муся. — Если кто станет лезть по-настоящему, я булавку воткну куда попадется, живо отстанет. Она вытащила и серьезно показала сломанную шляпную булавку.

— Только для тебя иду, — заявила Наташа, — уверена ли, ты что это не опасно?

— Ерунда, если станет приставать, дай ниже живота кулаком — отойдет, как миленький.

Они вошли в подъезд. Дверь им открыл Свечин.

— Ну что, девушки, пришли, — улыбнулся он и закурил.—Весело проведем вечерок.

За ним появился Асфоделиев выбритый, со смоченными о-де-колоном руками, в визитке, в сияющем пенснэ; он важно и неторопливо поздоровался, спросил, гуляли ли они сегодня по Летнему саду, не написали ли новых стихов.

Все вчетвером вошли в комнату.

Мумиобразный человек поднялся, взмахнул длинными волосами, поклонился издали.

— Вот наш друг Кокоша Шляпкин, — представил его Свечин, — поэт, музыкант, художник, кругосветный путешественник. Сейчас из глины революционные сцены лепит — прохвост ужаснейший.

Субъект улыбнулся.

За Мусей стал ухаживать Асфоделиев, за Наташей Свечин. Кокоша подсаживался то к одним, то к другим и, повидимому, скучал.

После ужина универсальный артист Кокоша сел за пианино, начал импровизировать. В соседней комнате Асфоделиев, выбрав местечко потемнее, затащил Мусю на диван. Муся, в истоме после выпитого вина, позволяла ему проводить губами по руке, целовать затылок, но руки его отстраняла, подбородок отталкивала.

Тогда Асфоделиев попытался на нее воздействовать философией.

— На кой чорт вам девственность, — шептал он, прижимая ее к себе и вращая жирным продолжением своей спины, — или вас соблазняют мещанские добродетели? нет, нет, я предлагаю вам сказочную жизнь богемы, истинно аристократическую жизнь.

И толстяк уронил пенснэ.

— Девушка — желторотый воробей, — продолжал он свои манипуляции, — от нее пахнет булкой; женщина — это цветок, это благоухание. Семья — это мещанство, это штопанье чулок, это кухня. — Рука его устремилась, но была остановлена. — Мы, поэты, — переваливался Асфоделиев на другой бок, — духовная аристократия, поэтессе нужны переживания. Как вы хотите писать стихи, не зная мужчины?

В это время, сквозь комнату, Свечин протащил хихикающую Наташу. Она была пьяна совершенно, голова ее

свесилась набок, она прикрывала рот рукой, ее тошнило. Он провел ее в уборную и стал прохаживаться за дверью возбужденно. Отвел ее в последнюю комнату, опустил на постель.

Наташа уткнулась в подушку и заснула. Свечин стал раздеваться, насвистывая. Он снял с себя рубашку, стал медленно расшнуровывать ботинки.

— Пусть она уснет покрепче.

Снял ботинки, поставил их аккуратно у кровати.

Зажал ей рот рукой, она силилась сбросить его с себя, но не могла. Сквозь руку она плакала и видела свет лампы.

Он сел на краю постели отдышаться. Наташа подняла свою голову, потрогала грудь, посмотрела на его спину, откинулась и заплакала. Он повернулся, радостно похлопал ее и сказал:

— Не все ли равно — рано или поздно.

— Как твои дела? — входя в гостиную, спросил он Асфоделиева.

Тот сидел нахмурившись. Муся засмеялась.

Он отвел Асфоделиева к окну.

— Ты дурак, — сказал он. — А где прохвост Кокоша?

— Ушел давно, надоело ему ждать.

— Дурак твой Кокоша, сейчас бы в спальню пошел, пока девушка не очухалась. Говорил я ему, чтобы подождал.

— Я пойду туда, — сказал Асфоделиев, улыбнулся полным лицом, поправил пенснэ и отправился.

Свечин подошел к Мусе.

— Где Наташа? — спросила она.

Но Свечин удержал ее за руки.

— Она сейчас придет.

Муся поняла и стала зла на подругу.

— Дура, — подумала она и села.

Свечин сел и начал обхаживать ее.

— Где Наташа? — снова повторила она. Встала, чтобы итти ее искать.

Из дверей вышел, улыбаясь, Асфоделиев.

— Ваша Наташа пьяна как стелька, она сейчас придет.

За окнами вставало солнце. Подруги, не попрощавшись, вышли.

В это утро Ковалев сидел перед окном — вот Пьеро несет Коломбину, вот старый муж лежит при лампе, а молодая жена стоит — ищет блох. Вот девушка обнаженная лежит на операционном столе; над ней в задумчивости склонился седой доктор.

Сколько воспоминаний... Сколько воспоминаний.

Открытка с Пьеро и Коломбиной — его любимая открытка. Открытки с ловлей блох и с операционным столом — любимые открытки генерала Голубца.

А когда Ковалев в тачке возил щебень на барку, прошла, возвращавшаяся с пирушки, Наташа, запрятав носик в воротник, не узнала Ковалева, а Ковалев был страшно рад, что она его не узнала, он ведь не рабочий, а так, временно, до приискания настоящей работы, щебень грузит. Скрылась Наташа; закурил Ковалев, сел на тачку и задумался; достал краюху ситного с изюмом и съел с удовольствием, вспомнил пасху, бой колоколов в воздухе и романсы.

— Ничего, вырвусь, — решил, — снова стану человеком. Вот только в профсоюз трудно пройти.

И стал думать о профсоюзе, как прежде о георгиевском крестике.

— Надо во что бы то ни стало утвердиться на строительных работах.

## Глава VI

## Генерал Голубец и корнет Ковалев

Генерал Голубец, отец Наташи, рассматривая партитуру, курил дешевую сигару, когда Наташа, возвращаясь с пирушки, прошла в свою комнату. Ее отцу захотелось поговорить в это весеннее утро. Он встал, пошел следом за Наташей и остановился в дверях.

— Комендант сидел у окна, — стал рассказывать генерал Голубец анекдот, — и увидел, что по улице идет поручик Н — ского полка без шашки. — «Иван»! — зовет комендант денщика и указывает на офицера. Через минуту офицер появляется в комнате, при шашке. Комендант видит шашку и смущается.—«Простите, поручик», — говорит он,— «мне показалось незнакомым ваше лицо. Давно ли вы у нас в городе?» И, любезно поговорив, отпускает офицера. Поручик вышел. Комендант снова сел к окну. Через минуту видит — идет тот же поручик без шашки! — «Иван!» — кричит комендант. — «Позвать его!» Через минуту входит офицер при шашке. Комендант конфузится еще более и просит офицера передать поклон от него командиру полка. Офицер вышел. Комендант снова сел к окну. Через минуту видит, опять идет тот же офицер без шашки! — «Иван!» кричит комендант. — «Вернуть его!» Через минуту входит тот же поручик при шашке. Совсем сконфуженный комендант приглашает поручика сыграть вечером в винт. Молодой офицер вышел. Комендант сел к окну. Через минуту видит, идет тот же поручик без шашки! — «Лиза, Елена Александровна!» — зовет комендант жену и дочь и показывает в окно на офицера. — «При шашке он?» — «Без шашки!» — в один голос отвечают жена и дочь. — «А я говорю, шашка есть! шашка есть!» — кричит комендант и сердится.

Генерал Голубец выдержал паузу.

— А знаешь, где поручик брал шашку? — спросил он у Наташи. — Это была шашка самого коменданта!

Бывший генерал Голубец отходит от двери в столовую, садится за партитуру; рядом самовар и жена. Он тапер в кинематографе, она шьет на рынок маркизетовые платья. А позади них, в комнате, единственная дочь их, худенькое, хихикающее дитя, занимающееся в университете.

В 191 . . . году, провожая Михаила Ковалева на войну, Наташа думала: — герой, воин.

И, вернувшись домой, плакала: — убьют его, наверно убьют. Ей было тогда пятнадцать лет, ее тогда нельзя было назвать хихикающим существом. Правда, она тогда уже впопад и невпопад улыбалась, но это была улыбка застенчивых людей.

Корнет Павлоградского гусарского полка Михаил Ковалев, ее жених, тогда ехал на войну как на парад. Летели поля, леса. Он стоял у окна, видел георгиевский крест и лицо своей невесты. Но через неделю после прибытия Михаила в полк солдаты предложили ему должность кашевара. — «Вот они, подвиги», подумал он. — Затем он год скрывался в лесах под Петербургом, затем он попал на красный фронт в качестве помощника инспектора кавалерии. Он ругал красных, где только мог, но служил им честно. Потом он был демобилизован и очутился в Петербурге. Но Наташа к нему охладела. Годы голода ее переродили; она стала нервным существом. То она училась в какой-то театральной студии, где ее хватали за все места, то в университете прохаживалась в «Булонском лесу» (главный коридор), куря папиросу.

Михаил Ковалев редко после революции виделся с Наташей. Полное безденежье, невозможность найти службу,— у него не было никакой специальности, — глубоко унижали

его и приводили в отчаяние. Но все же он думал, что он когда-нибудь найдет место и тогда женится на Наташе.

Ежегодно, в первый день пасхи, он натягивал краповые чарчны с золотыми галунами, сапоги с гусарскими розетками, вытаскивал из глубины шкафа френч. Из-под половицы доставал золотые погоны с вензелями, одевался быстро, быстро, клал шпоры в карман и, в прожженной на войне с белыми шинели, — летел к Наташе.

Это повторялось из года в год. Он взбегал по лестнице, бывшая ее превосходительство сидела в комнате и читала книгу. С Наташей он христосовался, съедал ломтик кулича и блюдечко сливочной пасхи.

Затем Наташа садилась за зыбкое пианино и что-то безголосо пела. Открывала жалко рот и смотрела на Михаила Ковалева. Ей было грустно, она его больше не любила. Она считала его пошлым.

Иногда Михаил Ковалев вставал, просил Наташу сыграть «Ах, увяли давно хризантемы». Становился рядом, тоже раскрывал рот и фальшивил. Иногда пел «Это девушки все обожают» или «Красотки, красотки, красотки кабарэ, любовь ведь для вас наслажденье».

— Ах, как хорошо провел я этот вечер, — думал он, — возвращаясь ночью домой, по переименованным и вновь освещенным улицам, среди буденовок, кожаных курток, под скачущими вывесками.

## Глава VII
## Книга Тептёлкина

Для создания мысли научная поэзия необходима, — думал Тептелкин, лежа в постели, на следующий день после чтения, — вот и никому неизвестный поэт посредством сопоставления слов вызывает новый мир для нас; мы его разберем, разложим, переведем на язык прозы, лишим образности, и следующее поколение, уже усвоившее плоды наших трудов, не увидит в его стихах пышного цветения образности нового мира. Все будет им казаться обыкновенным в его стихах, жалким; а сейчас только немногим доступны они.

Пройдут годы, вся эпоха отойдет, все вокруг изменится, и над неизвестным поэтом будут смеяться, называть варваром, сумасшедшим, идиотом, пытавшимся испортить прекрасный язык. Ученики, пишущие скверные стишки ученицам, конторщики, между составлением бумаг объясняющиеся в любви машинисткам, директора трестов и представители месткомов будут говорить:

— Экое было вырождение и до чего праздные люди не додумаются! Стихи должны передавать мысль, итти по пятам науки. Радио изобретен — пиши о радио, беспроволочный телеграф изобретен — прославляй культуру.

Но пока, хоть и недолгая слава, — Тептелкин спустил ноги и сел на постели, — но слава уже ждет неизвестного поэта. Барышни уже начали наклеивать фотографические карточки на его книжки, пожимают ему руку научные сотрудники, студенты вешают его портрет над скучными книжками. И если он сейчас умрет, то за его гробом пойдет не менее сорока человек и будут говорить о борьбе против века и изобразят хитроумным Одиссеем,

оставшимся на острове Цирцеи (искусство), бежавшим от моря (социология).

Взглянул Тептелкин в окно, не идет ли к нему неизвестный поэт, и увидел, что идет, палочкой постукивает, шляпой помахивает, новую рукопись несет.

«Вот сейчас попирую в стране неизвестной», — подумал Тептелкин и побежал дверь отпирать.

Поцеловались. Ругнули современность. Духовно плюнули на проходивших пионеров.

— Экое поколение растет, без всякого гуманизма, будущие истинные представители средневековья, фанатики, варвары, не просвещенные светом гуманитарных наук.

— Да пакость, гадость вокруг — одичание, — склонился Тептелкин.

Сели.

— И всегда пакость, гадость была вокруг, сволочное топтание, — задумавшись продолжал Тептелкин. — Воображаю, как белогвардейцы пакостят консульские здания заграницей: перед тем, как туда вселяется какое-нибудь полпредство и обои срывают, и в потолок плюют, и паркет выламывают. Не сядут перед камином посидеть в последний раз, погрустить, посмотреть на стены, материей обтянутые, не походят по комнатам, не выйдут в сад, если таковой при доме имеется.

— Не стоит философствовать, — уклонился неизвестный поэт, — мы давно — я искусственно, вы — литературно, пережили гибель, и никакая гибель нас не удивит. Интеллигентный человек духовно живет не в одной стране, а во многих, не в одной эпохе, а во многих, и может избрать любую гибель, он не грустит, а ему просто скучно, когда его гибель застает дома, он только промычит: — еще раз с тобой встретился — и ему станет смешно.

Тептелкину стало грустно, очень грустно. Он подошел к окну.

«Какие славные, загорелые дети эти пионеры», подумал он и улыбнулся. Ему почему-то стало радостно и свежо, как будто в комнату ворвалась струя воздуха, освещенная солнцем, «вот снова молодость мира», подумал он.

В это время в комнату вошел Костя Ротиков.

— Удивительные стихи пишете вы, — обратился он к неизвестному поэту: — истинное барокко.

У Кости Ротикова были особые движения, весь он двигался с элегантностью. Сегодня он зашел к Тептелкину, чтоб увезти неизвестного поэта и поговорить с ним о безвкусице: он собирал безвкусные и порнографические вещи как таковые; часто они, Костя Ротиков и неизвестный поэт, ходили по рынкам и выбирали пепельницы; на одной стороне пепельницы все прилично, а на другой все неприлично; на одной стороне идет дама и лицо кавалера за ней улыбается, а на другой . . .

Костя Ротиков покупал не только порнографические открытки, но и открытки приличные, но отвратительные. Усастый, румяный кавалер обедает с дамой в ресторане и жмет ей ножку под столом своим сапогом. Девица в прическе блином играет на арфе. Голая нимфа с кружкой пива бежит, а за ней охотится человек в тирольском костюме.

Когда они ушли, Тептелкин вздохнул свободнее. Осмотрел свою комнату, и все в ней ему понравилось. Понравилась ему и пепельница с цветочками (она существовала для друзей — Тептелкин не курил), и ваза для цветочков с аравитянкой, облокотившейся на кувшин, и фотографические карточки — семейные сцены детства: — вот шестилетний Тептелкин бежит с сачком за бабочкой, вот восьмилетний Тептелкин обедает, вот десятилетний Тептелкин в латах рыцаря сидит под елкой; вот карточки матери, братьев, сестер, вот друзей, наконец, карточка Мечты.

Посмотрел Тептелкин на летнее кресло-качалку и на-

шел, что оно не менее удобно, чем вольтеровское кресло, решил продолжать основной труд своей жизни, открыл сундук, сундук был всегда покрыт зеленой плюшевой скатертью и изображал — неизвестно что изображал. Достал тетрадь.

На первой странице было выведено: «Иерархия смыслов». «Введение в изучение поэтических произведений». На второй странице в нижнем углу (Тептелкин любил оригинальность) помещалось посвящение «Моей Единственной» (единственной с большой буквы) и фотографическая карточка Мечты. На третьей странице римская цифра I, на четвертой посредине выступало одно слово: «предисловие», на пятой . . .

Труд был начат солидно. Дальше под основным текстом шли примечания на французском языке из виднейших современных лингвистов, без перевода на русский язык (труд был явно рассчитан на настоящих ученых, а не на глупых студентов). Основной текст, казалось, тоже был написан на иностранном языке и только согласован русскими окончаниями. Тут намекалось на возможность дать новые определения понятию романтического и понятию классического, тут говорилось о поэтических способах окрашивать настоящее время в прошедшее и будущее и разрушалось нелепое представление, что смыслы гнездятся в слове, и давалось определение эстетического как фантазма, как гармонизации природы и истории.

«И если б истинный художник, — думал Тептелкин, — заглянул в эту книгу, он не смог бы оторваться от нее; на него подействовал бы завораживающей пафос этих страниц: художественное произведение всегда лично, принципиально лично, нельзя видеть художественное произведение безлично, дело не в имени, а в том, что личность в произведении отражается.

* * *

«Искусство есть восхищенность, есть объективный фазис бытия. В эстетическом нет ни природы, ни истории, это особая сфера и не логическая, и не этическая, и не сумма их». Сколько бы ни читал художник, неотступно звучал бы в его ушах лейт-мотив книги: искусство есть бытие восхищенное, фантазия есть объективный фазис бытия. И он бы простил Тептелкину и нелепый язык, и французские примечания, и убранство комнаты, и фотографическую карточку Мечты в шляпке, с зонтиком в руках, отъезжающей на извозчике».

## ИНТЕРМЕДИЯ.

Уже два часа прохаживается по рынку Костя Ротиков в белых брюках, в черном пиджаке и фетровой шляпе. Высокий, коренастый, склоняется над барахлом, брезгливо раздвигает палочкой, ищет порнографию.

— Чего вам? — спрашивают торговки старым железом и сосут край стакана с горячим чаем. — Чего вы все роетесь, все разбрасываете?

Краснеет Костя Ротиков и отходит. Неизвестный поэт по другую сторону стоит перед рыночным антикваром, рассматривает старую, косматую, похожую на ведьму, Венеру; одной рукой она ведет большеголового амура, в другой держит балалайку. У Венеры чресла опоясаны монгольской тканью с зигзагами, груди у нее морщинистые, отвислые, а по бокам головы знаки ее (♀).

В это время к нему подходит Свечин.

— Знаешь, здесь на рынке Кокоша Шляпкин торгует. Выставил, подлец, красноармейца, танцующего на груди офицера, нарисовал портретики Ильича, вставил в медальоны и комсомолкам в платочках предлагает. А не знаешь ли ты вузовки какой-нибудь? Люблю девушек откупоривать. Вчера, пока ты шествиями наслаждался, — знаю, знаю, сидел где-нибудь на балконе и поплевывал вниз, — я Наташу...

Бывший артиллерийский офицер сделал соответствующий жест.

Неизвестный поэт почувствовал беспокойство. Он помнил ее еще маленькой девочкой с косичками, в белом платье, танцовавшей в Павловске на детских балах.

— А вот вы где, друзья мои, — протянул им руки Тептелкин, — должно быть о литературе говорите, не буду мешать вам, не буду.

Он откланялся и пошел.

Костя Ротиков, наконец, отыскал соответствующую спичечницу. Свечин отправился, заглядывая под шляпки.

Вдоль стены стояли бывшие дамы, предлагая: одна — чайную ложечку с монограммой, другая — порыжевшее, никуда негодное боа, третья — две рюмочки, переливавшие семью цветами, четвертая — тряпичную куколку собственного изделия, пятая — корсет девятисотых годов. Та седая старушка — свои волосы, выпавшие еще в ранней юности и собранные в косичку, эта — сравнительно молодая, — сапоги довольно поношенные своего умершего мужа.

## Глава VIII

## Неизвестный поэт и Тептёлкин ночью у окна

Вы совершаете великую подлость, — сказал мне однажды неизвестный поэт. — Вы разрушаете труд моей жизни. Всю жизнь я старался в моих стихах показать трагедию, показать, что мы были светлые; вы же стремитесь всячески очернить нас перед потомством.

Я посмотрел на него.

— Если вы думаете, что мы погибли, то вы жестоко ошибаетесь, — продолжал неизвестный поэт, играя глазами, — мы особое, повторяющееся периодически состояние и погибнуть не можем. Мы неизбежны.

Он сел на скамейку. Я сел с ним рядом.

— Вы — профессиональный литератор, нет ничего хуже профессионального литератора, — отодвинулся он от меня.

— Сумасшедший, — пробормотал я. Он повернул голову.

— Иногда сознания у современников не совпадают, — это не дает вам права считать меня сумасшедшим.

Я устыдился. Может быть, правда, он не сумасшедший. Мы помолчали.

Он настороженно стал слушать шорохи листьев.

Мимо нас проходили комсомольцы со своими подругами.

«Нет, нет, все же он сумасшедший!»

— Я часто отсутствую, — сказал неизвестный поэт, как бы отгадывая мою мысль, — но это ничто иное, как растворение в природе.

Он встал и пожал мне руку.

— Мне искренно жаль, что вы живете в том мире, ко- й изображаете.

К нему шел Тептелкин.

Они серьезно и как вежливые люди поздоровались. Они не хлопали друг друга по плечу.

Пошли по аллее. Я прошел мимо мечети, сел в трамвай.

«Ты сумасшедший, все же сумасшедший», — подумал я.

Я вошел в дом, очинил карандаш.

— Нет, — сказал я, — надо выяснить, что сейчас они делают. Они должно быть опять заняты скверным и нехорошим делом.

Я покрутил усы, вышел, положил ключ в карман, посмотрел, при мне ли карандаш и бумага. Ночь была белая.

Колонны выступали то парами, то тройками, то четверками. Ко мне пристало существо в одежде сестры милосердия.

— Я — Тамара, — сказала она.

— А где твое одеяло из белого атласа? — спросил я, — одеяло из дорогой материи стоби, из индийского коленкора, из гиландского шелка, подушка шелковая цвета фиалки, вуаль золотая с кисточкой?

Она навела на меня лорнет.

— От вас воняет пивом, — сказала она. — Но вы должно быть чистенький мужчинка. Идемте ко мне.

— Ладно, — ответил я, — в другой раз. Сейчас я ужасно занят. Сейчас мне некогда.

— Ничего, ничего, — ответила она, — можно и тут, отойдемте в сторонку.

Видя, что я не останавливаюсь, крикнула:

— А может быть вы литератор, вы ведь все, подлецы, нищенствуете. Я одного взяла на содержание Вертихвостова. Он стихи мне про сифилис читает, себя с проституткой сравнивает. Меня своей невестой называет.

— Отстаньте, дорогое существо, — сказал я, — отстаньте. Я не литератор, я любопытствующий.

Она шла за мной и проводила меня почти до площади Жертв Революции. Там она села на скамейку и заплакала.

— Кой чорт вы плачете? — спросил я ее. — Или вам жаль шубы из горностая, иль другой из каракумского меха с жемчужинами на отвороте, или колец из ништадтской бирюзы, или накидки из ткани хорасанской, или шахмат из рыбьих зубов, шкатулок из янтаря?

— Я хотела бы покататься на велосипеде, я ведь одна из лошадок полковника Бабулина, я хочу, чтобы вокруг меня были офицеры.

Тут я только заметил, что ее совершенно развезло.

«Пьяница», — подумал я и удвоил шаг.

Был второй час ночи, когда я подошел к дому, где жил Тептелкин. Дворник пропустил меня. Я прошел в полуразрушенный флигель, встал против окна Тептелкина. Они сидели за столом, горела керосиновая лампа, они что-то читали, жарко спорили. Иногда неизвестный поэт вставал и прохаживался по комнате. «Что они читают, о чем говорят? — подумал я. — Наверно хихикают над современностью».

— Я думаю, — поднялся неизвестный поэт, — наша эпоха героическая.

— Несомненно героическая, — подтвердил Тептелкин.

— Я думаю, что мир переживает такое же потрясение, как в первые века христианства.

— Я убежден в этом, — ответил Тептелкин.

— Какое зрелище перед нами открывается! — заметил неизвестный поэт.

— В какой интересный момент мы живем! — восторженно прошептал Тептелкин.

— Однако, пора, — отошел неизвестный поэт от окна. — Я возьму у вас Данта.

— Конечно, — ответил Тептелкин.

Неизвестный поэт подошел, закрыл книгу, положил ее в карман. Стал прощаться. Через несколько минут после его ухода вышел и я.

Семеня домой по абсолютно пустынным улицам, я думал, что и я некогда считал неизвестного поэта петербургской пифией.

## Глава IX

## Поэт Сентябрь и неизвестный поэт

Однажды неизвестный поэт читал стихи в уголке имени Кружалова.

Вокруг него извивался пьяный, бородатый, в ситцевой рубахе, человек и почти плакал от восторга.

— Боже мой, — повторял он, — какие гениальные стихи! О таких стихах я мечтал всю жизнь!

Знакомые барышни дружно хлопали неизвестному поэту.

Человек в ситцевой рубахе дохнул на него винным перегаром, потряс руку.

— Ради бога, зайдите ко мне, моя фамилия Сентябрь.

Неизвестный поэт достал из кармана обрывки исписанных бумажек, выбрал на одном из них свободное место, записал адрес.

— Я приехал из Персии, зайдите ко мне, я давно не слышал настоящих стихов, — сказал человек в ситцевой рубахе.

На следующий день неизвестный поэт отправился к Сентябрю.

Сентябрь жил в другой части города, в так называемом доходном доме, т. е. в высоком доме с узеньким, как колодец, двором, с большими, со всеми удобствами, квартирами на улицу и маленькими, в боковых флигелях и заднем фасаде, неумолимо однообразными, повторяющимися по одному плану с низу вверх.

Неизвестный поэт позвонил. Дверь ему отворил Сентябрь, трезвый, в высоких сапогах, в чистой рубахе, подпоясанный ремнем.

В первой комнате посредине стоял стол, накрытый скатертью, на нем остатки еды. Вокруг стола четыре покоробленные дождем венские стула. На гвоздике висело пальто.

порыжевшее от времени, и кофточка жены. Половина комнаты была отгорожена шкафом, за ним стояло брачное ложе Сентября.

Неизвестный поэт отложил свою палку, украшенную епископским камнем, положил шляпу и с искренней симпатией посмотрел на Сентября. Он уж многое знал о нем. Знал, что тот семь лет тому назад провел два года в сумасшедшем доме, знал нервную и ужасную стихию, в которой живет Сентябрь.

— Я со вчерашнего дня не могу успокоиться, — говорил Сентябрь, — до сумасшедшего дома, в сумасшедшем доме и в Персии мне чудились такие стихи, как будто вы умирали не раз, как будто вы не раз уже были.

Неизвестный поэт осмотрел комнату.

— Прочтите мне свои стихи, — сказал он.

— Нет, нет, потом. Вот моя жена.

Из-за шкафа вышла худенькая женщина с семилетним чистеньким, красивым мальчиком.

— Вот мой зайченыш Эдгар. Это необыкновенный поэт, — сказал он ребенку, показывая глазами на неизвестного поэта.

— Пушкин? — спросил мальчик и широко раскрыл глаза.

Сентябрь провел неизвестного поэта в свою комнату. Узенькая кровать (отдельное ложе Сентября), прикрытая фиолетовым одеялом с черными горизонтальными полосами. Тоненькая подушка служила изголовьем. Вся исчерканная рукопись валялась посредине постели. На подоконнике стоял стакан и дыбилась начатая осьмушка махорки. У стены черный столик и стул. Комната была оклеена обоями с яркими розами.

Сентябрь и неизвестный поэт сели на постель.

— Зачем вы приехали сюда! — Помолчав, неизвестный поэт посмотрел в окно. — Здесь смерть. Зачем бросили

берег, где печатались, где вас жена уважала, так как у вас были деньги? Где вы писали то, что вы называете футуристическими стихами. Здесь вы не напишете ни одной строчки.

— Но ваши стихи? — ответил Сентябрь.

— Мои стихи, — неизвестный поэт задумался, — может быть, совсем не стихи. Может быть, они оттого так действуют. Для меня они иносказание, нуждающийся в интерпретации специальный материал.

— Я не все понимаю, что вы говорите, — заходил Сентябрь по комнате. — Я кончил только четырехклассное городское училище, затем я сошел с ума. По выходе из больницы стал писать символистические стихи, ничего не зная о символизме. Когда, затем, мне случайно попались рассказы По, я был потрясен. Мне казалось, что это я написал эту книгу; я только недавно стал футуристом.

Он остановился, приподнял край одеяла, вытащил из-под кровати деревянный ящик, открыл его, достал рукопись, прочел:

Весь мир пошел дрожащими кругами
И в нем горел зеленоватый свет.
Скалу, корабль, и девушку над морем
Увидел я, из дома выходя.

По Пряжке, медленно, за парой пара ходит,
И рожи липкие. И липкие цветы.
С моей души ресниц своих не сводят
Высокие глаза твоей души.

«Удивительную интеллигентность, — думал неизвестный поэт, пока Сентябрь читал, — вызывает душевное расстройство».

Он посмотрел в глаза Сентябрю:

— Жаль, что он не может овладеть своим безумием.

— Я написал это стихотворение, — снова заходил Сентябрь по комнате, — еще до выхода из лечебницы. Я его

тогда понимал, но теперь совсем не понимаю. Для меня это, сейчас, набор слов.

Он нагнулся и вынул из ящика другие стихи. Выпрямился, снова стал читать.

В общей ритмизованной болтовне изредка попадались нервные образы, но все в целом было слабо.

Сентябрь это почувствовал, сел на корточки, сконфуженно принялся рыться в глубине сундука. Он вытащил книжечки своих стихов, напечатанные в Тегеране, но и в них не было ничего.

— Чайник вскипел, — остановившись в дверях, обратилась к мужу жена, — Петр Петрович, пригласи гостя чай пить.

— Сейчас, сейчас, — и Сентябрь в глухой безнадежности скороговоркой стал читать свои недавние, футуристические стихи.

Неизвестный поэт почти в отчаянии сидел на кровати.

«Вот человек, — думал он, — у которого было в руках безумие и он не обуздал его, не понял его, не заставил служить человечеству».

От окна уже несло ночным холодком. Сентябрь и неизвестный поэт прошли в соседнюю комнату.

Розовые сушки лежали на тарелке. Жена Сентября разливала чай; маленькая, черненькая, морщинистая, но юркая, она быстро, быстро говорила, предлагала сушки, опять говорила. Наконец неизвестный поэт прислушался.

— Неправда ли, — продолжала она, — это безумие приехать сюда, здесь страшно жить, а у него у Байкала родители крестьяне, дом — полная чаша, туда, а не сюда надо было ехать.

Керосиновая лампа мутно горела на столе. Отодвинув стакан, семилетний Эдгар спал, положив на руки голову.

— Зайченыш мой, — склонился Сентябрь и поцеловал своего сына.

Наступило молчание.

— Ты меня и сына погубишь, нам надо уехать, уехать!

Встав из-за стола она принялась ходить по комнате.

Глубокой ночью спускался неизвестный поэт по лестнице. На пустой улице, слушая замолкавшее эхо своих шагов, облокотился на палку с большим иерархическим аметистом, выпустил лопатки и задумался. Хотел бы он быть главою всех сумасшедших, быть Орфеем для сумасшедших. Для них бы разграбил он восток и юг и одел бы в разнообразие спадающих и вновь появляющихся риз несчастные приключения, случающиеся с ними.

Он с ненавистью поднял палку и погрозил спящим бухгалтерам, танцующим и поющим эстрадникам. Всем неиспытывавшим, как ему казалось, страшнейшей агонии.

— Помогите! о помогите! — мерещилось ему кричал девичий голос из первого этажа.

Ничего не понимая, с силой, удесятеренной тоской, он, прихрамывая, взбежал по лестнице, сбежал с нее и сразбегу кинулся в окно. Глаза у него остановились, шея напряглась. Раз, раз! вцепился он в чей-то затылок и начал бить кулаками по голове; его легко сбросили—он вцепился в горло; его откинули—он схватил тяжелый стул. Ударил.

Стало тихо.

У ног его лежал Свечин. Никакой девушки в комнате не было.

«Вот так штука, — подумал неизвестный поэт, приходя в себя, — чорт знает что произошло.

Вся квартира зашевелилась, захлопали двери, затопали ноги по коридору.

Неизвестный поэт морщил лоб.

Побежали за постовым милиционером.

Выяснили, что, в то время, как Свечин спал, в комнату ворвался через окно его знакомый и покушался его убить.

«Какая странная жизнь, — думал неизвестный поэт. — Повидимому, во мне глубоко, глубоко живы ощущения детства. Когда то женщина мне казалась особым существом, которое нельзя обижать, для которого надо всем жертвовать. Повидимому, в моем мозгу до сих пор сохранились какие-то бледные лица, распущенные волосы и ясные голоса. Должно быть, подсознательно я ненавидел Свечина, иначе как могла возникнуть эта галлюцинация?

Окно было забито досками, за досками была укреплена решотка; наверху виднелась узенькая полоска облачного неба; на одной койке сидел неизвестный поэт, на другой — лежал пожилой заключенный.

Больше всех удивлен был этим происшествием Свечин. Он его никак не мог объяснить. Он ходил обвязанный и пожимал плечами.

Официальный защитник ничего не мог добиться от неизвестного поэта.

— Мне нечего сказать современности, — произнес вслух, разговаривая сам с собой, неизвестный поэт. — К чорту всякие объяснения! — И ходил от окна к двери.

Медицинская экспертиза нашла его вполне нормальным.

В конце концов приговорили его на год, условно.

## Глава X

## Некоторые мои герои в 1921 — 1922 гг.

С некоторых пор, с опозданием на два года, в городе, — я говорю о Петербурге, а не о Ленинграде, — все заражены были шпенглерианством.

Тонконогие юноши, птицеголовые барышни, только-что расставшиеся с водянкой отцы семейств ходили по улицам и переулкам и говорили о гибели Запада.

Встречался какой-нибудь Иван Иванович с каким-нибудь Анатолием Леонидовичем, руки друг другу жали:

— А знаете, Запад-то гибнет, расположение-с. Фьютс культура — цивилизация наступает...

Вздыхали.

Устраивались собрания.

Страдали.

Поверил в гибель Запада и поэт Троицын.

Возвращаясь с неизвестным поэтом из гостей, икая от недавно появившейся сытной еды, жалостно шептал:

— Мы, западные люди, погибнем, погибнем.

Неизвестный поэт напевал:

О грустно, грустно мне, ложится тьма густая
На дальнем Западе, стране святых чудес...

Говорил о К. Леонтьеве и хихикал над своим собратом. Ведь для неизвестного поэта что гибель? — ровным счетом плюнуть, все снова повторится, круговорот-с.

— Подыми ножку и скачи, — хотелось ему посоветовать Троицыну. Он хлопнул его по плечу: — любуйся зрелищем мира, — и показал на собачку, гадящую у ворот.

Троицын остановился — собак тогда еще мало было в городе.

— А все же грустно ...чка, — он назвал неизвестного поэта уменьшительным именем. — Вот, пишешь

стихи, а кому они нужны. — Читателей нет, слушателей нет, — грустно.

— Пиши идиллии, — посоветовал неизвестный поэт, — у тебя идиллический талант; делай свое дело, цветок цветет, трава растет, птичка поет, ты стихи писать должен.

Помолчали.

— Луна. Звезды, — сладко зевнул Троицын, — давай проходим сегодняшнюю ночь.

— Проходим, — согласился неизвестный поэт.

На стоптанных каблуках, в лохмотьях, поэты шли то к Покровской площади, то на Пески, то к саду Трудящихся.

— Ты любишь и чувствуешь Петербург, — засмотрелся Троицын у Казанского собора на звезды.

— Не удивительно, — рассматривая свои сапоги, заметил неизвестный поэт, — я в нем присутствую в лице четырех поколений.

— Четыре поколения вполне достаточно, чтобы почувствовать город, — доставая платок, подтвердил Троицын. А я с Ладоги, — продолжал он.

— Пиши о Ладоге. У тебя детские впечатления там, у меня — здесь. Ты любил в детстве поля с васильками, болота, леса, старинную деревянную церковь, я — Летний сад с песочком, с клумбочками, со статуями, здание. Ты любил чаёк с блюдечка попивать.

Помолчали.

Неизвестный поэт оглянулся.

— Я парк раньше поля увидел, безрукую Венеру прежде загорелой крестьянки. Откуда же у меня может появиться любовь к полям, к селам? Неоткуда ей у меня появиться.

Они сели на камни у забора Юсуповского сада.

— Прочти стихи, — предложил Троицын неизвестному поэту.

Неизвестный поэт положил палку.

— Чорт знает что, — растрогался Троицын, — настоящие петербургские стихи. Посмотри, видишь луну сквозь развалины?

Он встал на цыпочки на груду щебня.

Неизвестный поэт закурил.

— Не смотри на луну, — сказал он, — это тревожащее явление. И, поднявшись перед Троицыным, хотел заслонить ее.

В год шпенглерианства Миша Котиков приехал, поразился и влюбился в силу, гордость, мироощущение, недавно утонувшего, петербургского художника и поэта Заэвфратского, высокого седого старика, путешествовавшего с двумя камердинерами. Поэт Заэвфратский с тридцатипятилетнего возраста создавал свою биографию. Для этого он взбирался на Арарат, на Эльбрус, на Гималаи — в сопровождении роскошной челяди. Его палатку видели оазисы всех пустынь. Его нога ступала во все причудливые дворцы, он беседовал со всеми цветными властителями.

Миша Котиков ни разу не видал Заэвфратского, но был поражен. Миша был румяный, рыжий, большеголовый мальчик, опрятный, с маленьким ротиком. — «Удивительно!» — часто шептал он, склоняясь над книжками и рисунками Заэвфратского.

Плакала жена Александра Петровича Заэвфратского, когда Заэвфратского не стало, и ручки ломала.

Воспользовались случаем друзья Заэвфратского, ходили к ней и утешали.

И Свечин утешал.

А на следующий день ругался:

— Дура, птица, лежит как колода.

И ходил по всему небольшому деревянному дому и разглашал:

— Вот он с ней, а она вздыхает — ах, Александр Петрович!

Через год Миша Котиков, как поклонник Заэвфратского, познакомился с Екатериной Ивановной.

Вечерком вина принес и закусочек; долго, склонив головку, говорила Екатерина Ивановна об Александре Петровиче. Какие платья он любил, чтоб она носила, какие руки были у Александра Петровича, какие прекрасные седые волосы, какой он был огромный, как он ходил по комнате и как она, встав на цыпочки, целовала его.

Сидел Миша Котиков, раскрыв свой маленький пунцовый ротик, смотрел своими голубыми ясными глазками, начал гладить и пожимать ручки Екатерины Ивановны, целовать Екатерину Ивановну в лоб. Все спрашивал:

— А какой нос был у Александра Петровича? а какой длины руки? а носил ли Александр Петрович крахмальные воротнички или предпочитал мягкие? а барабанил ли пальцами Александр Петрович по стеклу?

На все вопросы ответила Екатерина Ивановна и заплакала. Взяла мужской носовой платок с инициалами, поднесла к глазам.

— Не платок ли это Александра Петровича? — спросил Миша Котиков.

Долго она сидела молча и утирала слезы платком Заэвфратского.

Потом передала платок Мише Котикову:

— Храните его на память об Александре Петровиче.

Снова заплакала.

Миша Котиков аккуратно сложил платок и спрятал поспешно.

— А что говорил об искусстве Александр Петрович? — ощупывая платок в кармане, спросил Миша

Котиков. — Чем была поэзия для Александра Петровича?

— Он со мной о поэзии не говорил, — раскрыв глаза, посмотрела в зеркало Екатерина Ивановна.

Подскочила к зеркалу.

— Посмотрите, неправда ли, я грациозная? — она стала разводить руками, склонять голову. — Александр Петрович находил, что я грациозная.

— А когда начал писать стихи Александр Петрович, в каком возрасте? — закуривая папироску, задал вопрос Миша Котиков.

— Не правда ли, я похожа на девочку, — села в кресло Екатерина Ивановна. — Александр Петрович говорил, что я похожа на девочку.

— Екатерина Ивановна, а какой столик мы накроем? — рассерженно спросил, вставая с кресла, Миша Котиков.

— Вот этот, — показала на круглый столик Екатерина Ивановна, — но у меня ничего нет.

— Я принес Бордо и . . . — с гордостью сказал Миша Котиков, — закуски и фрукты.

— Ах, какой вы хороший, — засмеялась Екатерина Ивановна, — я люблю вино и фрукты!

— Меня совсем забросили друзья Александра Петровича, — сказала она вздыхая, в то время, как Миша Котиков, став на ципочки, доставал рюмки из шкафа.

— Они обо мне совсем не заботятся, знают, что я безвольная, не умею жить, совсем не обращают на меня внимания. Не заходят, не говорят об Александре Петровиче. Не ухаживают за мной. Будемте друзьями, будемте говорить об Александре Петровиче, — добавила она.

Выпив и закусив, Миша Котиков стал рассматривать вещи в комнате.

— Неправда ли это столик, за которым писал Александр Петрович? — указал он на небольшой круглый

стол. — Отчего пыль вы не вытираете? — добавил он.

— Не умею я пыль вытирать, — ответила Екатерина Ивановна, — при Александре Петровиче я пыль не вытирала.

На следующий день проснулся Миша Котиков в постели Александра Петровича.

Рядом с ним, раскрыв ротик, высунув ручку, спала Екатерина Ивановна.

— Жаль, что она так глупа, — подумал Миша Котиков. — Никаких ценных сведений об Александре Петровиче сообщить мне не может. Ну, да ладно, от друзей Александра Петровича получу ценные сведения. А от нее узнаю, как писал Александр Петрович. — Екатерина Ивановна, а Екатерина Ивановна, как писал Александр Петрович?

Проснулась Екатерина Ивановна, раскинула ручки, толкнула коленком Мишу Котикова, перевернулась на другой бок и заснула.

Две недели ходил к Екатерине Ивановне Миша Котиков. Разные интимные подробности об Александре Петровиче собирал; иногда водил Екатерину Ивановну в кинематограф, иногда в театр, иногда просто по улицам гуляли.

Все узнал Миша Котиков: сколько родимых пятнышек было на теле Александра Петровича, сколько мозолей, узнал, что в 191 . . . году у Александра Петровича на спине чирий выскочил, что любил Александр Петрович кокосовые орехи, что было у Александра Петровича за время брака с Екатериной Ивановной тьма любовниц, но что он любил ее очень.

А когда все узнал и все записал, то решил, что любовницы Александра Петровича должно быть умнее жены, и ему больше сведений о душе Александра Петровича смогут дать. Бросил Екатерину Ивановну. Был он мальчик чистенький, одевался аккуратно в высшей степени, ни-

когда у него ни под одним ноготочком грязь не застревала.

Узнал, что студентка X была последней любовницей Александра Петровича, встретился с ней в одном знакомом доме, где литературные собрания устраивались.

Дом был удивительный. Две барышни—и обе стихи писали. Одна — с туманностью, с меланхолией, другая — со страстностью, с натуральностью. Они обе решили поделить мир на части: одна возьмет грусть мира, другая — его восторги.

Были еще всякие юноши и девушки. Поэтический кружок составился. Приходили и прежней эпохи поэты; тридцатипятилетние юноши. Все стихи, садясь в кружок, читали, а некоторые на балконе стояли, звездным небом и трубами любовались. Здесь-то и встретился Миша Котиков со студенткой X.

Он тоже здесь стихи читал, сидя на подушке от дивана, ножки вытянув, глазки закрыв. Рядом с ним, как раз, сидела студентка X, веселая, с длинными ножками.

— А что, Евгения Александровна, пойдемте после вечера по городу погулять, к томоновской Бирже.

— Только если соберется компания, — шепотом ответила Евгения Александровна.

В два часа ночи компания составилась.

Компания прошла мимо вздыбленных коней над Фонтанкой. Всю дорогу ухаживал за Женей Миша Котиков. Говорил о том, что она удивительная и необыкновенная девушка. Когда подошли к Бирже Томона, удалились вместе Миша и Женя, склонив нежно головы.

Раскраснелся Миша Котиков, порозовела Женичка, со ступенек встали.

— Скажите, Женичка, — спросил Миша Котиков, — очень вас любил Александр Петрович?

— Обещал два месяца любить, но потом избегал встречаться.

— А когда это было?

— 11-го февраля.

— Не говорил ли с вами Александр Петрович о поэзии?

— Говорил, — ответила, поправляя юбку, Женя, — говорил, что каждая девушка писать стихи должна. Во Франции все пишут.

— А что говорил Александр Петрович об ассонансах?

— Ассонансов он не любил, говорил, что они только для песен годятся.

— Женичка, Женичка, еще поправьте юбочку, а то заметить могут.

Молодые люди прощались. Город постепенно восстанавливался. Появлялись окрашенные здания. Поэт Троицын прошел, провожая свою аптекаршу. А знакомство у него с аптекаршей было необычайное. Раз как-то он, проходя мимо аптеки, увидел за прилавком хорошенькую головку, зашел, попросил средства от головной боли; хорошенькая головка знала, что это Троицын. Еще бы не знать! Троицын везде стихи читал. Он страшно любил стихи читать.

Дала она ему средство от головной боли, и заговорил Троицын о звездах. Просто неземной человек был Троицын, только о звездах и мог говорить.

— Посмотрите, — говорил он, показывая в окно, — какая медведица.

— А какая огромная луна, — ответила девушка.

— А какой чистый воздух ночной, — сказал Троицын.

— А знаете мое стихотворение «Дама с Камелиями»? — спросил Троицын.

— Не знаю.

— Хотите я почитаю?

— Почитайте, — ответила барышня.

Троицын почитал.

«Какие поэтические стихи!» замечталась девушка.

Троицын облокотился совсем на прилавок. Барышня посмотрела на часы.

— Сейчас моя подруга придет, я ее сегодня заменяю.

— Я вас провожу, — сказал Троицын.

— Хорошо, — раскрыла глаза барышня.

Через полчаса они шли мимо Петровского парка.

— Давайте в снежки играть, — предложил Троицын.

То она убегала, то он убегал. Прохожих не было. Сели отдохнуть, белые от снежков.

Посмотрел Троицын вокруг — никого. Посмотрела она — никого. Пошли подальше от дороги.

На следующий день Троицын бегал по городу и всем рассказывал. Но в течение двух недель ходил провожать аптекаршу, появлялся везде с аптекаршей, отводил друзей в сторону и шептал на ухо:

— Надоела мне она. Это все перпендикулярная любовь. Я, как Дон-Жуан, настоящей любви ищу.

Посмотрели вслед удаляющейся парочке молодые люди, посмеялись над Троицыным.

Попрощался с Женей Миша Котиков. Условились завтра встретиться. Подошел Миша Котиков к неизвестному поэту.

— Я биографией Александра Петровича занят. Не можете ли вы дать нужные сведения?

— Гм... — лениво ответил неизвестный поэт. — Обратитесь к Троицыну. Он все знает.

Миша Котиков побежал догонять Троицына.

На следующий день Миша Котиков сидел у Троицына. Комната была полутемная. Пахло малиновым вареньем. На окнах висели кисейные занавески. На подоконнике

зеленела девичья краса. На стенах были развешены портреты французских поэтов, приколоты гравюры, изображавшие Манон Леско, Офелию, блудного сына.

— Вот перо Александра Петровича, — протянул вставочку Троицын Мише Котикову, — вот чернильница, вот носовой платок Александра Петровича.

— У меня есть носовой платок Александра Петровича, — ответил с гордостью Миша Котиков.

— Как, вы тоже собираете поэтические предметы?

— Это вещи для биографии, — ответил Миша Котиков. — Важно установить, в каком году, какие носовые платки носил Александр Петрович. Вот у вас батистовый, а у меня полотняный. Вещи связаны с человеком. Полотняный платок показывает одну настроенность души, батистовый — другую.

— У меня платок тринадцатого года.

— Вот видите, — заметил Миша Котиков, — а у меня шестнадцатого! Значит Александр Петрович пережил какую-то внутреннюю драму или ухудшение экономического положения. По платку мы можем восстановить и душу и экономическое состояние владельца.

— А я, вообще, собираю поэтические предметы, — доставая шкатулку, сказал Троицын.

— Вот шнурок от ботинок известной поэтессы (он назвал поэтессу по имени). — Вот галстух поэта Лебединского, вот автограф Линского, Петрова, вот — Александра Петровича.

Миша Котиков взял автограф Алексадра Петровича, стал рассматривать.

— А где бы мне добыть автограф Александра Петровича?

— У Натальи Левантовской, — ответил Троицын.

— А... — подумал Миша Котиков.

Глава XI

## Остров

Еще весной переехал Тептелкин в Петергоф, снял необыкновенное здание.

Задумался у входа. Здесь он будет принимать друзей, будет гулять по парку с друзьями, как древние философы, и, прохаживаясь, объяснять и разъяснять, говорить о высоких предметах. Здесь посетит и мечта жизни его, необыкновенное и светлое существо, — Мария Петровна Далматова. Сюда приедет и философ его, старый наставник и необыкновенный поэт, духовный потомок западных великих поэтов, прочтет им всем новые стихи свои на лоне природы. И другие знакомые приедут. Задумался Тептелкин.

Утром он встал, распахнул окно и запел как птичка. Внизу чирикали, взлетали воробьи, шла молочница.

«Теплынь-то какая, — подумал он и простер руки к просвечивающему сквозь ветви деревьев солнцу.

— Тихо тут, совсем тихо, я буду работать вдали от города; здесь я могу сосредоточиться, не разбрасываться.

Он облокотился на стол.

— Ха-ха, — смеялись по вечерам обитатели соседних дач, утихомирившиеся советские чиновники, со своими женами и детворой, идя по дорожкам от дач и погружаясь в зелень парка.

— Ха-ха! приехал философ; тоже, выбрал помещение!

— Ха-ха, дурачек, по утрам цветы собирает.

Тептелкин со дня на день ждал приезда своих друзей. Собирал цветы по утрам, чтобы встретить друзей с цветами.

Вот идет он с охапкой черемухи — Мария Петровна любит черемуху. Вот завернул он за угол с букетом сирени. Сирень любит Екатерина Ивановна.

Но отчего нигде не видно Натальи Ардалионовны? Куда она скрылась?

— Мы последний остров Ренессанса, — говорил Тептелкин собравшимся, — в обставшем нас догматическом море; мы, единственно мы, сохраняем огоньки критицизма, уважение к наукам, уважение к человеку; для нас нет ни господина, ни раба. Мы все находимся в высокой башне, мы слышим, как яростные волны бьются о гранитные бока.

Башня была самая реальная, уцелевшая от купеческой дачи. Низ дачи был растащен обитателями соседних домов на топку кухонь, но верх уцелел, и в комнате было уютно. Стоял стол, накрытый зеленой скатертью. Вокруг стола сидело общество: дама в шляпе со страусовыми перьями и с аметистовым кулоном, собачка рядом с ней на стуле; старичок, рассматривающий ногти и делающий тут же маникюр; юноша в кителе с старозаветной студенческой фуражкой на коленях; философ Андрей Иванович Андриевский; три вечных девы и четыре вечных юноши. В уголке Екатерина Ивановна завивала пальцем волосы.

— Боже мой, как нас мало, — Тептелкин качнул своими седеющими волосами. — Попросим уважаемого Андрея Ивановича сыграть, — повернулся он к высокому философу, совершенно седому, с длинными пушистыми усами.

Философ встал, подошел к футляру, вынул скрипку.

Тептелкин растворил окно, отошел. Философ сел на подоконник, засунул угол платка за крахмаленный воротничек, попробовал струны и заиграл.

Внизу цвели запоздавшие ветви сирени. В комнату проникал фиолетовый свет. Там, вдали, мерцало море, освещенное развенчанной, но сохранившей очарование для присутствующих, луной. Перед морем фонтаны стре-

мились достичь высоты луны разноцветными струями, наверху кончавшимися трепещущими белыми птичками.

Философ играл старинную мелодию.

Внизу, по аллее фонтанов, проходил Костя Ротиков с местным комсомольцем. У комсомольца были глаза херувима. Комсомолец играл на балалайке.

Костя Ротиков был упоен любовью и ночью.

Философ играл. Он видел Марбург, великого Когена и свою поездку по столицам западно-европейского мира; вспомнил, как он год прожил на площади Жанны д'Арк; вспомнил, как в Риме... Скрипка пела все унывней, все унывней.

Философ с густой, седой шевелюрой, с моложавым лицом, с пушистыми усами и бородой лопатой, видел себя великолепно одетым в цилиндре с тросточкой, гуляющим с молодой женой.

— Боже мой, как она любила меня, — и ему захотелось, чтоб умершая жена его стала вновь молодой.

— Не могу, — сказал он, — не могу больше играть, — опустил скрипку и отвернулся в фиолетовую ночь.

Вся компания сошла вниз в парк.

Философ некоторое время шел молча.

— По-моему, — прервал он молчание, — должен был бы появиться писатель, который воспел бы нас, наши чувства.

— Это и есть Филострат, — рассматривая только-что сорванный цветок остановился неизвестный поэт.

— Пусть будет по вашему, назовем имеющего явиться незнакомца Филостратом.

— Нас очернят, несомненно, — продолжал неизвестный поэт, — но Филострат должен нас изобразить светлыми, а не какими-то чертями.

— Да уж, это как пить дать, — заметил кто-то. — Победители всегда чернят побежденных и превращают, будь

то боги, будь то люди, — в чертей. Так было во все времена, так будет и с нами. Превратят нас в чертей, превратят, как пить дать.

— И уже превращают, — заметил кто-то.

— Неужели мы скоро друг от друга отскочим? — ужасаясь прошептал Тептелкин, моргая глазами, — неужели друг в друге чертей видеть будем?

Шли к бабьегонским высотам.

Компания расстелила плэд, каждый скатал валиком свое пальто.

— Какой диван! — воскликнул Тептелкин.

Впереди, освещенный магометанским серпом, темной массой возносился Бельведер; направо — лежал Петергоф, налево — финская деревня.

Когда все расположились, неизвестный поэт начал:

Стонали точно жены струны.
Ты в черных нас не обращай...

Тептелкин, прислонившись к дереву, плакал, и всем в эту ночь казалось, что они страшно молодые и страшно прекрасные, что все они страшно хорошие дюди.

И поднялись — шерочка с машерочкой и затанцовали на лугу, покрытом цветами, и появилась скрипка в руках философа и так чисто и сладко запела. И все воочию увидели Филострата: тонкий юноша с чудными глазами, оттененными крылами ресниц, в ниспадающих одеждах, в лавровом венке — пел, а за ним шумели оливковые рощи. И, качаясь, как призрак, Рим вставал.

— Я предполагаю написать поэму, — говорил неизвестный поэт (когда видение рассеялось): в городе свирепствует метафизическая чума; синьоры избирают греческие имена и уходят в замок. Там они проводят время в изучении наук, в музыке, в созидании поэтических, живописных и скульптурных произведений. Но они знают, что они осуждены, что готовится последний штурм замка.

Синьоры знают, что им не победить; они спускаются в подземелье, складывают в нем свои лучезарные изображения для будущих поколений и выходят на верную гибель, на осмеяние, на бесславную смерть, ибо иной смерти для них сейчас не существует.

— Ах, неправда ли, я теперь совсем глупой стала, — начала приставать к Тептелкину Екатерина Ивановна, — совсем глупой стала без Александра Петровича и совсем несчастной.

— Послушайте, — отвел Тептелкин в сторону Екатерину Ивановну, — вы совсем не глупая, просто жизнь так складывается. «Развратил ее совершенно Заэвфратский, развратил», — подумал он.

— А где Михаил Петрович Котиков, — прошептала Екатерина Ивановна, — отчего он не заходит, не говорит со мной об Александре Петровиче?

Помолчал Тептелкин:

— Не знаю.

Екатерина Ивановна, приподняв ножку, начала осматривать свои туфельки.

— А ведь туфли-то у меня совсем истрепались, — широко раскрыв глаза, сказала она. — И дома нет одеяла, пальто прикрываться приходится.

И задумалась.

— Нет ли у вас конфеток?

— Нет, — грустно ответил Тептелкин.

— А ведь Александр Петрович великий поэт, неправда ли? Нет теперь больше таких поэтов, — выпрямилась она с гордостью. — Он меня больше всего на свете любил. — И улыбнулась.

К Тептелкину подошла Муся в старомодной соломенной шляпке с голубыми ленточками и слегка блестящими ногтями дотронулась до его руки.

— Скажите, — сказала она, что значит

Есть в статуях вина очарованье,
Высокой осени пьянящие плоды...

— Ах, ах, — покачал головой Тептелкин, — в этих строках скрыто целое мировоззрение, целое море снующих, то поднимающихся как волны, то исчезающих смыслов!

— Как хорошо мне с вами, — сказала Муся. — Мне он говорил, — она показала глазами на неизвестного поэта, разговаривающего с вечным юношей, — что вы последние, уцелевшие листы высокой осени. Я это не совсем поняла, хотя кончила университет; но ведь теперь в университетах не этому совсем учат.

— Этому не учат, это чувствуют, — заметил Тептелкин.

— Сядемьте на ту ступеньку, — указала Муся подбородком.

Они поднялись повыше. Сели на ступеньку между кариатид портика Бельведера.

— Как поют соловьи! — сказала Муся. — Отчего девушек соловьи всегда волнуют?

— Не только девушек, — ответил Тептелкин, — меня соловьи тоже всегда волнуют.

Он посмотрел Мусе в глаза.

— А я женщин боюсь, — задумчиво уронил он. —Это страшная стихия.

— Чем же страшная? — улыбнулась Муся.

— А вдруг закрутит, закрутит и бросит. С моими друзьями это случалось, а как бросит, никак не умолить жить вместе. А как мои друзья на своих жен молились и портреты в бумажниках носили! А они всегда, всегда бросают.

Тептелкин обиделся за друзей.

Муся достала гребенку и стала расчесывать Тептелкину волосы.

Внизу молодые люди пели:

Gaudeamus igitur...

Тептелкин вспомнил окончание университета, затем погрузился в свое детство и в нем встретился с Еленой Ставрогиной. Ему показалось, что есть нечто от Елены Ставрогиной в Марии Петровне Далматовой, что она как бы искаженный образ Елены Ставрогиной, искаженный — но все же дорогой. Он поцеловал у нее руку.

— Боже мой, — сказал он, — если б вы знали...

— Что, что? — спросила Муся.

— Ничего, — тихо ответил Тептелкин.

Внизу пели:

Есть на Волге утес...

Утром в поезде ехали обратно в Ленинград Костя Ротиков и неизвестный поэт. Неизвестный поэт грустил невыносимо. Ведь его ждет полное забвение. Костя Ротиков развлекал его как мог и говорил о барокко.

— Не правда ли, — говорил он, — вы стремитесь не к совершенству и законченности, а к движущемуся и становящемуся, не к ограниченному и осязаемому, а к бесконечному и колоссальному.

В вагоне никого не было, они сидели вдвоем. Костя Ротиков встал и стал читать сонет Гонгоры.

Неизвестный поэт с нежностью смотрел на Костю Ротикова, насмешливого и остроумного, слегка легкомысленного, читающего только иностранные книги и несколько свысока любующегося творениями рук человеческих.

— Еще поборемся, — сказал он, выпрямляясь.

— Что с вами? — спросил Костя Ротиков.

— Ничего, — улыбнулся неизвестный поэт, — я обдумываю новую барóчную поэму.

За окнами неслись поля с высокой травой. Появив-

шийся Костя Ротиков уже читал сонет Камоэнса и находил огромное сходство в настроенности с Пушкинским стихотворением

Для берегов отчизны дальной...

В конце поезда, в вагоне, одна, сидела Екатерина Ивановна и обрывала ромашку: любит не любит любит не любит. Но кто ее любит или не любит, — не знала. Но чувствовала, что ее должны любить и о ней заботиться.

А в самом последнем вагоне ехал философ с пушистыми усами и думал:

«Мир задан, а не дан; реальность задана, а не дана».

Чиво, чиво, поворачивались колеса.

Чиво, чиво...

Вот и вокзал.

У Кости Ротикова палочка с большим кошачьим глазом.

У Кости Ротикова глаза голубые, почти сапфировые.

У Кости Ротикова пальцы длинные, розовые.

— Куда мы направимся? — весело спросил неизвестный поэт. — Делать нам равно нечего.

— Пойдемте слушать, как изменяется язык отечественных осин, — улыбнулся Костя Ротиков.

Весь день провели вместе Костя Ротиков и неизвестный поэт. Гуляли по Летнему саду, по набережным Фонтанки, Екатерининского канала, Мойки, Невы. Постояли перед Медным Всадником, пожалели, что некогда отцы города счистили зелень, — прекрасную черно-зеленую патину. Покурили. Сели на скамейку. Поговорили о том, что город по происхождению большой дворец.

Поговорили о книгах.

Летний вечер. Никаких официальных занятий. Никакой кафедры. Мошкора кружится и вьется. В лодке си-

дит Тептелкин, гребет. У берега качаются тростники, наверху виден Петергофский дворец, на берегу стоит неизвестный поэт.

— Приехали! — кричит Тептелкин и гребет к берегу.— Наконец-то вы приехали. Если б вы знали, как мне грустно жить здесь, сегодня мне особенно грустно.

Лодка пристала к берегу, неизвестный поэт сходит в нее, и Тептелкин, сутулый, седеющий, гребет от берега. Неизвестный поэт управляет рулем, — лодка несется ко взморью.

— Мне вспомнилось, — говорит Тептелкин, — как я преподавал несколько лет тому назад в одном университетском городе. Я помню, как раз в этот день, в этот час, мы — я и учащаяся молодежь — отправились на противоположный берег реки и там в рощице я прочел лекцию.

Сумерки.

Наконец в темноте они привязали лодку и пошли гулять по парку.

На востоке появилась розовая полоска зари, когда молча они подошли к башне.

Неизвестный поэт слушал, как Тептелкин долго возится наверху в единственной жилой комнате, как он снимает сапоги и ставит их у кровати, как звенит ложечка в стакане.

«Пьет холодный чай», решил он.

Утром Костя Ротиков увидел неизвестного поэта дремлющим на белой скамье в парке у большой ели, прямой, как мачта. Друзья радостно поздоровались и отправились к морю. Позади косят траву. Костя Ротиков сел на корточки в море, среди волн, крепкий, розовый. Неизвестный поэт дремлет на камнях, на берегу, согретый утренним солнцем.

— А знаете, — появился Костя Ротиков, — Андрей Иванович поселился здесь.

Дрыгая ногой и обтираясь мохнатым полотенцем он продолжает:

— Я у него беру уроки методологии искусствознания.

Камни и песок раскалены. Костя Ротиков зашнуровывает ботинки с круглыми носами. Неизвестный поэт весело скачет с камня на камень и курит.

Молодые люди отошли от кладбища и направились, наискось, по тропинке, между еще не скошенным пушистым медком, покрытым черными букашками и зеленовато-металлическими жучками и улиточной слизью, тмином, красным и белым клевером и щавелем, к дороге, ведущей в Новый Петергоф, к небьющим фонтанам (будний день), к статуям с сошедшей позолотой, ко дворцу, где у баллюстрады ходит взад и вперед инвалид — продавец папирос, бегает босоногий мальчишка, предлагая ириски, и, скрестив ноги, прислонившись к ящику, меланхолически время от времени копает в носу мороженщик.

Молодые люди вошли в общественную столовую, расположенную вблизи дворца, и стали есть кислые щи. Одна тарелка была тяжелая, морская, другая — с гербом; ложки были оловянные.

— Что собой представляет Филострат? — спросил Костя Ротиков, поднося ложку ко рту.

Но в это время вошел в столовую философ Андрей Иванович в сопровождении фармацевта и научной сотрудницы местного института.

Костя Ротиков и неизвестный поэт, встав, приветствовали вошедшего. После обеда все вместе направились в старый Петергоф на празднование годовщины местного института. Но по дороге решили зайти к Тептелкину.

Тептелкин в это время принимал солнечную ванну. Он сидел голый в трехногом кресле и играл пальцами ног и улыбался и пил чай и читал «Дух христианства» Шатобриана.

Костя Ротиков вошел первый и отпрянул. Прикрыл дверь, попросил поднимающихся подождать, приоткрыл дверь и элегантно проскочил в комнату. Тептелкин от неожиданности весь покраснел.

Компания, расположившись у башни, в садике со сломанным забором, с кустами акаций, со следами клумб, развлекалась. Она увеличилась еще за это время. Среднего роста студент, сидя на пне, играл на гребенке. Другой, крошечного роста, присвистывал. Философ сидел на скамейке, недавно поставленной и еще не окрашенной; рядом с ним сидел фармацевт, вечно шевелящий губами; на траве аккуратно сидела сотрудница местного института. В это время с высоты башни спустился Костя Ротиков под руку с Тептелкиным.

Фармацевт, наконец, только-что начал говорить; ему жалко было, что ему помешали. Он был огромного роста, в крахмальном белье и собственно не носил, а преподносил свой костюм. Тут же, прося не двигаться, всю группу снимал кодаком молодой человек, увлекающийся фрейдизмом; он даже уроки немецкого языка здесь брал у Тептелкина, чтобы читать Фрейда в подлиннике.

— Господа, — сказал Тептелкин. — Может быть, вместо того, чтобы сейчас итти на годовщину, еще посидим здесь, потому что через час ко мне ученик из города приедет.

Пока Тептелкин в башне подготавливал ученика трудовой школы в Вуз, неизвестный поэт и Костя Ротиков сходили за пивом, все поочередно пили из оказавшегося у кого-то стаканчика, обмахивались носовыми платками, били и отгоняли комаров.

Послышались мужские шаги. На дороге появилась сморщенная цыганка в высоких смазных сапогах. Увидев башню и компанию, она быстро побежала к ней:

— Дай погадаю, дай погадаю! Глаза твои заграничные!

Ходила она между лежащими, сидящими и стоящими.

— Не надо, не надо, — отвечали ей, — мы свое будущее знаем.

Никто не заметил, как из башни проскользнул ученик с физикой Краевича под мышкой.

— Ля-ля, ля-ля, — пел Тептелкин, пряча деньги и спускаясь по лестнице.

Уже солнце садилось, когда компания приблизилась к местному институту. Они опоздали, научная часть кончилась, неслась музыка из небольшого зала небольшого дворца герцогов Лейхтенбергских. Стеклянные двери в парк были растворены и красивые и некрасивые девушки, в тщательно сохраненных кружевных платьицах, вились у входа. Внутри танцовали. Все носило чистый и невинный характер. Радостные лица молодых девушек и молодых мужчин, тапер, сохранявший медленность, профессора, сидящие по стенам и с достоинством беседующие друг с другом. Компания гуськом вошла в зал. Уже давно луна рябит. Костя Ротиков танцует до седьмого пота; философ осторожно ходит между танцующими и беседует с профессорами; Тептелкин выплывает из дверей в парк с фармацевтом. Вокруг летают ночные бабочки и бьются в освещенные окна.

Тьма. Философ, фармацевт и научная сотрудница движутся тремя силуэтами. Фармацевт следит, как бы не оступился философ, как бы не разбился, как бы не пропало одно из последних философских светил.

У аккуратного крыльца два силуэта целуются с третьим.

— Покойной ночи, дорогой Андрей Иванович, — говорят они.

Утром студенты опять разбрелись по парку собирать козявок, жучков, всякую травку; некоторые плыли на лодках по небольшим прудам, сачками ловили в воде водоросли. Было жарко, солнце палило. Пахло сеном.

## Глава XII

## Расцвет

Через южный городок лихо шли отряды матросов, суетливо полки красноармейцев, оборванных и усталых. Тянулась артиллерия и обозы. Врангель высадил десант.

Он был в 16-ти верстах, когда в актовом зале двухэтажной женской гимназии, рядом с больницей, против собора, открылось торжественное заседание. За длинным столом, накрытым традиционным зеленым сукном, сидели петербуржцы. Сначала, вскочив, произнес речь только что назначенный ректор, затем говорили только-что избранные деканы, потом только-что избранные профессора и преподаватели. После третьего преподавателя поднимается Тептелкин.

— Граждане, — говорит он, — вы почтили нас священным званием профессоров и преподавателей; от голода, от повальных болезней, от морального страдания, на севере Петербург погибает. Там книгохранилища опустели, музеи больше не посещаются. В университете бродят, серые как тени, студенты, там нет ни собак, ни кошек, вороны не летают, воробьи не чирикают. Там всю зиму не раздеваются, сидят у буржуек, как эскимосы. На улицах валяются дохлые лошади с поднятыми к небу ногами и совершенно прозрачные, опухшие люди режут их на части и, запрятав куски за пазуху, тайком возвращаются по домам. Здесь, среди южной природы, в благодатном климате, в изобилии плодов земных, мы разовьем интеллектуальный сад, насадим плоды культуры.

Тептелкин останавливается, поднимает лицо, ломает руки.

— Здесь, на юге, культура взойдет многоярусной башней, южные ветры будут овевать ее, невинные цветы усеют

ее подножие, в окна будут залетать птицы, летом мы будем уходить в степь целыми толпами и читать вечные страницы философии и поэзии. Война, разруха не должны смущать вас. Я думаю, вы чувствуете тот пафос, который одушевляет нас.

Пожилой человек, знаток сумеро-аккадийских письмен, не выдержал и захохотал; старичок, которого увлекала античность не своими грамматическими формулами, а своей эротикой, прыснул и закрыл лицо руками; биолог, известный Дон-Жуан, посмотрел иронически и поправил пробор. Но весь актовый зал аплодировал Тептелкину и в учительской ему пожимали руку и беседовали.

По краткому собеседованию со студентами, Тептелкин решил читать курс по Новалису.

Великолепна была первая лекция Тептелкина. Он склонялся на фоне досок над кафедрой и время от времени заглядывал в свои листки.

— Коллеги, — говорил он, — мы сейчас погрузимся в прекраснейшее, что существует на свете. Мы выйдем из связанного по рукам и по ногам классицизма, чтобы услышать пленительную музыку человеческой души, чтоб лицезреть, еще покрытый росой, букет юности, любви и смерти.

Голос Тептелкина переливался как пение соловья, его фигура — высокая, стройная, без малейшей сутулости, его руки, соединенные в виде лодочки за спиной, его вдохновенные глаза, — все вызывало в слушающих восторг, а когда Тептелкин на следующей лекции стал читать оригиналы и тут же переводить их и комментировать, привлекая бог знает скольких поэтов и на скольких языках, многие юноши окончательно были потрясены, а барышни влюбились в Тептелкина. Всю учащуюся молодежь охватила физическая жажда юности, любви и смерти.

Всю зиму лекции Тептелкина были переполнены. Уже настала весна, и на мостовых меж кирпичей пробивалась

сорная трава; уже солнце грело; уже Тептелкин носил летний костюм и белые парусиновые туфли.

Когда проходил он по улице, за ним следовали барышни с букетами цветов и говорили о юности, любви и смерти. Когда он заходил к учащейся молодежи, его встречали почтительными поклонами.

Тептелкин стал кумиром города.

Некоторые студенты принялись изучать итальянский язык, чтобы читать о любви Петрарки и Лауры в подлиннике, другие повторять латынь, чтобы читать переписку Абеляра и Элоизы, иные стали грызть греческую грамматику, чтобы читать Пир Платона.

Все чаще устраивались экстраординарные доклады Тептелкина.

— Расцвет, расцвет, — волновался он, и как дирижер носился по городу.

То он с кем-нибудь читал о любви и толковал о прегнантном обороте, то кстати разбирал Данте и, дойдя до середины пятой песни, до Паоло и Франчески, потрясенный ходил по комнате, то комментировал прощание Гектора с Андромахой, то читал доклад о Вячеславе Иванове.

Год просуществовал университет в городке. Врангель был отогнан и было получено распоряжение о том, чтобы в университете было не меньше десяти марксистов. В то время марксистов не оказалось, все они были заняты на фронте. И университет закрылся. Закрылись аудитории, помещавшиеся в лабазе, кончились торжественные заседания и экстраординарные доклады в актовом зале женской гимназии. Тщетно прекраснейший климат и южные степи звали Тептелкина остаться. Он, захватив свои пожитки, вернулся в Петербург.

•

## Глава XIII
## Осень

Все лето прожил Тептелкин в своей башне, в милой для него дворянской окрестности.

Поздней осенью, когда багряные листы стали кружиться в воздухе и шуршать под ногою, сложил свои книжки, единственное свое достояние, в брезентовый чемодан; обошел в последний раз приходящий в запустение английский парк, маленький, но сложный, как лабиринт. Прошел в соседний парк, посмотрел грустно на Еву, прикрывавшую рукой лобок; между рукой и телом видны были черные прутья (шалость местной детворы), взглянул на Адама, продолжение спины Адама было запачкано нечистотами.

Сел на скамейку. На этой скамейке несколько дней тому назад он сидел с Мусей Далматовой, но не говорил о любви, а говорил о том, что хорошо жить вдвоем, что он больше не боится женщин. Он вспомнил золотые слова Марьи Петровны в ответ:

— Жена, как мать, должна относиться к своему мужу.

Ведь Тептелкину нужна была мама, которая любила бы его и ласкала, целовала бы в лоб и называла своим ненаглядным мальчиком.

— Боже мой, как прекрасен парк, как прекрасен... — прошептал Тептелкин, вставая со скамейки.

И хотя он не был дворянин, ему стало жаль дворян, разрушенных усадеб, коров с кличками Ариадна, Диана, или Амальхен, Гретхен; всех многочисленных родственниц и приживалок, вечно зябнущих в серых, коричневых или черных платках, самоваров, варений, альбомов, пасьянсов, раскладываемых дрожащею рукой.

— Разве теперь, — думал он, — когда это все отошло,

не трогательны розовые сады, где-нибудь в Харьковской губернии. Подростки женского пола, читающие только Пушкина, Гоголя и Лермонтова и мечтающие о спасении Демона; и не ужасна ли жизнь этих бывших подростков теперь, когда прежний быт, для которого они были созданы, кончился? Не обступает ли их теперь ужаснейшее отчаяние?

## Глава XIV
## После башни

Снова для Тептелкина наступила пора занятий в городских библиотеках, чтения писем и сочинений маленьких сотрудников гуманистов, скромных солдат армии, предводителями которой были Петрарка и Бокаччио. Видел он Петрарку бродящим вместе с Филиппом де-Кабассолем по окрестностям Воклюза, занятых разговорами о научных, религиозных вопросах и проводящих целые ночи за книгами, и появлялся Клемент VI, награждающий за латинские стихи пребендой.

Затем он с грустью читал отчеты о спорах. Он чувствовал, что при крайнем упадке гуманитарных наук и при крайней скудости в хороших книгах, возможна только пустая болтовня, а не ученый спор.

Иногда он перелистывал новые, выходившие книги. Его поражала форма изложения.

«Современники, — думал он, — отличаются невозможной формой изложения, полным отсутствием духа критики, крайним невежеством и чрезвычайной наглостью.»

Стали приходить к Тептелкину Аким Акимовичи и на ухо сообщали сведения о его друзьях. Один живет со своей матушкой и занимается оккультизмом; другой — к песикам неравнодушен; третий бывший наркоман и прозрения его в высшей степени подозрительны. Четвертый подхалимствует в чуждых сферах.

Смеялся Тептелкин.

— Мои друзья — избранники, никогда клевете не поверю. Нет ничего выше дружбы.

Но он стал замечать, что молодой человек, увлекающийся радио, действительно как-то слишком страстно целуется со своей матушкой. Сидят, сидят и вдруг язык с

языком соединяется, и напряжение языков у них до того сильно, что оба они, и сын и мать, от натуги краснеют. И действительно заметил, что другой его знакомый с непочтенными людьми на ты и при встречах с ними виляет задом. А третий часто неестественно нервный. Но все же убеждал сам себя Тептелкин, что все это пустяки, дружба выше всего на свете. И тут произносилась цитата из Цицерона.

Неизвестный поэт поджидал Костю Ротикова в Екатерининском сквере.

Постоял.

Прошелся по саду.

На одной скамейке заметил Мишу Котикова с актрисой Б. Сидит и что-то на ухо нежно шепчет и уголком рта, заметив неизвестного поэта, нехорошо улыбается.

«Все биографические сведения о Заэвфратском собирает», повернулся неизвестный поэт спиной и пошел к калитке.

Купил газету.

Сел на скамейку.

Почитал.

Опустил газету.

Затем вспомнил философа с пушистыми усами и мысленно преклонился перед его стойкостью; в прежние времена этого философа ждала бы великолепная кафедра. Почтительную молодежь было бы не оторвать от его книг. Но теперь нет ни кафедры, ни книг, ни почтительной молодежи.

Зевнул.

Лениво подумал: «это ересь, что с победой христианства исчезли сильные, языческие поэты и философы. Они нигде не встречали понимания, самого примитивного понимания, и должны были погибнуть. Какое одиночество испытывали последние философы, какое одиночество...».

Он заметил Марью Петровну Далматову на скамейке. Встал. Подошел.

— Что делаете вы тут? — спросил он.

— Вашу книгу читаю, — улыбаясь ответила Муся.

— Вы лучше Троицына почитайте. Для девушек это полезнее. Охота вам читать такой сухой вздор.

«Я разучиваюсь говорить, — подумал он, — совсем разучиваюсь».

И вдруг грустно, грустно посмотрел вокруг.

## Глава XV

## Свои

Совсем глубокой осенью, после того, как Тептелкин покинул башню и переехал обратно в город, неизвестный поэт вошел в его комнату.

Тептелкин, как всегда, в часы занятий сидел в китайском халате, на голове его возвышалась тюбитейка.

— Я изучаю санскрит, — сказал он. — Мне необходимо проникнуть в восточную мудрость; я вам сообщу совершенно по секрету, я пишу книгу «Иерархия смыслов».

— Да, — опираясь подбородком на палку, — засмеялся неизвестный поэт. — Дело в том, что современность вас осмеет.

— Какие вы глупости говорите, — вскричал, раздражаясь, Тептелкин. — Меня осмеют! Все меня любят и уважают!

Неизвестный поэт поморщился и забарабанил пальцами по стеклу.

— Для современности, — повернул он голову, — это только забава.

— Возьмем Троицына. Можно спорить об его величине, но все же он поэт настоящий.

— Я слышал, как Троицын собирает поэтические предметы, — смотря на затылок неизвестного поэта, заметил Тептелкин.

— Что ж, это от великой любви к поэзии. Для посторонних великая любовь часто бывает смешна.

— А Михаил Александрович Котиков? — задумавшись, спросил Тептелкин.

От Тептелкина неизвестный поэт пошел по полученному утром приглашению.

Сидели на железных неокрашенных кроватях безумные

юноши. Один поблескивал пенснэ, другой пел птичьим голосом свое стихотворение. Третий, ударяя в такт ногой, выслушивал свой пульс. Посредине сидела их общая жена — педагогичка второго курса. На голой стене комнаты отражалось окно с цветком.

Неизвестный поэт вошел.

— Мы хотим поговорить с вами о поэзии. Мы считаем вас своим, — прервали они свои занятия.

— Даша, брысь со стула, — сказал человек в пенснэ.

Педагогичка повернулась и хлопнулась на постель.

— Гомперцкий, — протянул руку человек в пенснэ, — изгнан из университета за академическую неуспешность.

— Ломаненко, сельскохозяйственник, — пропел птичьим голосом второй.

— Стокин, будущий оскопитель животных, — представился третий.

— Иволгина, — протянула руку педагогичка и поцарапала пальцем по ладони неизвестного поэта.

— Даша, смастери чай, — пробасил будущий фельдшер в сторону.

— Я слушать хочу, — скривив голову набок, засмеялась Даша.

— Говорят тебе! — истерическим голосом провизжал человек в пенснэ, сделал пирует и грациозно шлепнул ее носком сапога ниже спины.

Педагогичка скрылась.

— Попался, — повернулся к окну неизвестный поэт. — Здесь нельзя говорить о сродстве поэзии с опьянением, — думал он, — они ничего не поймут, если я стану говорить о необходимости заново образовать мир словом, о нисхождении во ад бессмыслицы, во ад диких и шумов и визгов, для нахождения новой мелодии мира. Они не поймут, что поэт должен быть, во что бы то ни стало, Орфеем и спуститься во ад, хотя бы искусственный,

зачаровать его и вернуться с Эвридикой — искусством, и что, как Орфей, он обречен обернуться и увидеть, как милый призрак исчезает. Неразумны те, кто думает, что без нисхождения во ад возможно искусство.

Средство изолировать себя и спуститься во ад: алкоголь, любовь, сумасшествие...

И мгновенно перед ним понеслись страшные гостиницы, где он, со стаей полоумных бродяг, медленно подымался по бесконечным лестницам, освещенным ночным, уменьшенным светом. Ночи под покачивание матрацев, на которых матросы, воры и бывшие офицеры, и женские ноги то под ними, то на них. Затем, прояснились заколоченные, испуганные улицы вокруг гостиницы. И бежит он снова, шесть лет тому назад, с опасностью для жизни, по снежному покрову Невы, ибо должен наблюдать ад, и видит он, как ночью выводят когорты совершенно белых людей.

Еще на западе земное солнце светит...

скажет потом одна поэтесса, но он твердо знает, что никогда старое солнце не засветит, что дважды невозможно войти в один и тот же поток, что начинается новый круг над двухтысячелетним кругом, он бежит все глужбе и глубже в старый, двухтысячелетний круг. Он пробегает последний век гуманизма и дилетантизма, век пасторалей и Трианона, век философии и критицизма и по-итальянским садам, среди фейерверков и сладостных латино-итальянских панегириков, вбегает во дворец Лоренцо Великолепного. Его приветствуют там, как приветствуют давно отсутствовавших любимых друзей.

— Как ваши занятия там, наверху? — спрашивают его.

Он молчит, бледнеет и исчезает. И уже видит себя стоящим в рваных сапогах, нечесанным и безумным перед туманным высоким трибуналом.

«Страшный суд», думает он.

— Что делал ты там, на земле? — поднимается Данте.— Не обижал ли ты вдов и сирот?

— Я не обижал, но я породил автора, — отвечает он тихим голосом, — я растлил его душу и заменил смехом.

— Не моим ли смехом, — подымается Гоголь, — сквозь слезы?

— Не твоим смехом, — еще тише, опустив глаза, — отвечает неизвестный поэт.

— Может быть, моим смехом? — подымается Ювенал.

— Увы, не твоим смехом. Я позволил автору погрузить в море жизни нас и над нами посмеяться.

И качает головой Гораций и что-то шепчет на ухо Персию. И все становятся серьезными и страшно печальными.

— А очень мучились вы?

— Очень мучились, — отвечает неизвестный поэт.

— И ты позволил автору посмеяться над вами?

— Нет тебе места среди нас, несмотря на все твое искусство, — поднимается Дант.

Падает неизвестный поэт. Подымают его привратники и бросают в ужасный город. Как тихо идет он по улице! Нечего делать ему больше в мире. Садится за столик в ночном кафэ. Подымается Тептелкин по лесенке, подходит.

— Не стоит горевать, — говорит он. — Мы все несчастны в этом мире. Ведь я тоже думал донести огонек возрождения, а ведь вот что получается.

Снова неизвестный поэт в комнате.

— Вы стремитесь к бессмысленному искусству. Искусство требует обратного. Оно требует осмысления бессмыслицы. Человек со всех сторон окружен бессмыслицей. Вы написали некое сочетание слов, бессмысленный набор слов, упорядоченный ритмовкой, вы должны вглядеться, вчувствоваться в этот набор слов; не проскользнуло ли в нем новое сознание мира, новая форма окружающего,

ибо каждая эпоха обладает ей одной свойственной формой или сознанием окружающего.

— На примере, конкретно! — закричали присутствующие.

«Надо попроще, — подумал он, — надо попроще». — Окна комодов, деревья садов... что это значит? — спросил он.

— Ничего, — закричали с постелей, — это бессмыслица!

— Нет, — ощупывая листки в кармане, — сказал он. — Всмотритесь в комод.

— У комодов нет окон, — закричали с постелей, — у домов — окна!

— Хорошо, — улыбнулся неизвестный поэт. — Значит дома комоды. А что в садах деревья — согласны?

— Согласны, — ответили присутствующие.

— Получается: в домах-комодах живут люди, подобно тому, как деревья растут в садах.

— Не понимаем! — закричали присутствующие.

— Вот импровизация!

— Вот что значит, — сказал неизвестный поэт, — окна комодов, деревья садов.

— Вот штука-то, — процедили люди на постелях, когда неизвестный поэт исчез.

— Дашка, чай не нужен.

— А сволочь, какие стихи пишет, — нахмурился человек в пенснэ. — Заумные и вместе с тем незаумные. Поди его разбери.

Гомперцкий пошел на кухню, сел на окно и обратился к Даше:

— Яичницу поставь.

Стал барабанить пальцами по стеклу. — Я человек интеллигентный, неврастеник, ты меня больше чем, —

он указал на дверь, — любить должна. Я учился, я рафинированный субъект, а они что — темнота. Ой тру-ла-ла, ой тру-ла-ла... — Запел он.

— А ведь в общем, мы твой гарем, Дашка; ты у нас — падишах. — Он подошел к ней.

— Эх, отстань, — оттолкнула она его, — яичница пригорит.

## Глава XVI
## Вечер старинной музыки.

Переехав с дачи в город, снова Тептелкин давал бесплатные уроки египетского, греческого, латинского, итальянского, французского, испанского, португальского языков; надо было поддержать падающую культуру.

Вот и сегодня в этот ясный, осенний день, в своей комнате, на фоне семейных фотографий, сидел он над египетской сказкой о потерпевшем кораблекрушении. Разбирал иероглифы, выписывал слова на отдельные листки.

Себаид — поручение
Мер — начальник города
Нефер — прекрасный

И, смотря в пространство, он слышал, как изображенные птицы поют, как проносятся разукрашенные лодки, как пальмы качаются. И вставал прекрасный образ Изиды, а затем последней царицы.

А во дворе, под окнами, пионеры играли в пятнашки, в жмурки, иные ковыряли в носу, как самые настоящие дети, и время от времени пели:

мы новый мир построим

или

поедем на моря.

А по каналам, по рекам, перерезающим город, сидели в лодках совбарышни, а за ними ухажер в кожаной куртке играл на гармонике, или на балалайке, или на гитаре.

И при виде их такое уныние овладевало петербургскими безумцами, что они бесслезно плакали, поднимали плечи, сжимали пальцы.

А поэт Троицын, возвращаясь после виденного в свою коморку, ложился на постель, повертывался к стене и вздрагивал, как бы от холода.

А Екатерина Ивановна, в своей нетопленной комнате, ходила со свертком на руках! боже мой, как ей хотелось иметь от Александра Петровича ребенка, и вспоминала, как Александр Петрович подымался вместе с ней по уставленной зеркалами и кадками с деревьями лестнице и делал ей предложение и она ввела его в свою розовую, совсем розовую комнату. Как он читал ей стихи до глубокой ночи и как они потом сидели в светлой столовой. Вспомнила — скатерть была цветная и салфеточки были цветные. И отца вспомнила, видного чиновника одного из министерств. И мать, затянутую и натянутую. И лакея Григория в новой тужурке и белых перчатках.

И Ковалев, при виде лодок, вдруг старел душой и с ужасом вокруг осматривался и чувствовал, что время бежит, бежит, а он все еще не начал жить, и в нем что-то начинало кричать, что он больше не корнет, что он никогда не сядет на лошадь, не будет ездить по круговой верховой дорожке в Летнем саду, не будет отдавать честь, не будет раскланиваться с нарядными барышнями.

Тептелкин выписал кучу слов. Справился в египетской, на немецком языке, грамматике, разобрался во временах.

Все было готово, а ученик не приходил. Прошел час, другой. Тептелкин подошел к стене.

— Скоро шесть часов. Еще не скоро придет Марья Петровна. Сегодня мы пойдем к Константину Петровичу Ротикову слушать старинную музыку, — подумал он с удовольствием.

Часы в комнате квартирной хозяйки пробили шесть часов, затем половина седьмого.

В комнате Сладкопевцевой сидели четыре ухажера, пили чай с блюдечек, блюдечки были все разные. Говорили о теории относительности, и, незаметно, то один под столом нажимал на ножку Сладкопевцевой, то другой. Иногда

падала ложка или подымался с пола платок — и рука схватывала коленко Евдокии Ивановны.

Это были ученики Сладкопевцевой, а ученики, как известно, любят поухаживать за учительницей.

Пробило семь часов.

Евдокия Ивановна села за пианино. Чибирячкин, самый широкий, самый высокий, сел рядом и стал чистить огромные ногти спичкой.

— Когда эта шантрапа уйдет, — посмотрел он через плечо на своих товарищей, — кобеля проклятые!

Действительно один кобель, длинный двадцати восьмилетний парень с рыжей бородой, плотоядно смотрел на затылок Евдокии Ивановны. Другой маленький, в высоких сапогах, скользил взором по бедрам. Третий толстый, с бритой головой, сидел в кресле.

А хозяйка, играя чувствительный романс, думала:

«Эх, эх, как девственник меня волнует!»

В восемь часов в комнату Тептелкина вошла Муся Далматова. Тептелкин снял тюбитейку, закутал шею рыжеватым пуховым кашнэ, застегнул пальто на все пуговицы.

— Меня знобит, — сказал он. Надел мягкую шляпу, взял палку с японскими обезьянами. Муся взяла его под руку, и они отправились.

— Ах, если б вы знали, — говорил Тептелкин по дороге, — как прекрасен египетский язык классического периода! Он не так труден; всего надо знать каких-нибудь шестьсот знаков. Вот только жаль, что полного словаря египетского языка еще нигде на свете не существует.

— А по происхождению, к какой группе принадлежит египетский язык? — спросила Муся Далматова.

— К семито-хамитской, — ответил Тептелкин.

— А откуда возникли колонны? — спросила Муся.

— Из стремления к вечности, — задумавшись, ответил

Тептелкин. — Фу ты, — спохватился он, — прототипом колонн являются стволы деревьев.

Перед домом, в одной из комнат которого жил Костя Ротиков, Муся сказала:

— В одном из музеев я видела удивительные египетские украшения: кольца из ляпис-лазури.

Они прошли во двор довольно смрадный. Кошки, при виде их, выглянули из открытой помойной ямы, выскочили и побежали одна за другой. Одна кошка, рыжая, перебежала дорогу.

Тептелкин почувствовал нечто нехорошее под ногой. Перед входом он долго вытирал ногу о пахучую ромашку, растущую кустами то тут, то там.

Поднялись по ступенькам, с выбоинами. Постояли. Постучали.

Дверь открыла жилица, тридцатипятилетняя рыжая девушка, с папиросой во рту, в синем платке с розами, мечтающая о ночном городе восьмых, десятых годов. Она всю жизнь о нем мечтать будет, и старушкой седенькой.

— К вам пришли, — сказала она, открывая дверь в комнату Кости Ротикова.

На диване сидели — Костя Ротиков и неизвестный поэт по-турецки и пили из маленьких чашечек турецкий кофе. Одна стена до верху была увешана и уставлена безвкусицей. Всякие копилки, в виде кукишей, пепельницы, пресс-папье, в виде руки, скользящей по женской груди, всякие коробочки с «телодвижениями», всякие картинки в золотых рамах, на всякий случай завешанные малиновым бархатом. Книжки XVIII века, трактующие о соответствующих предметах и положениях, снабженные гравюрами.

Стена напротив дивана увешана и уставлена была причудливейшими произведениями барокко: табакерками, часами, гравюрами, сочинениями Гонгоры и Марино в пергаментных, в марокеновых зеленых и красных переплетах.

а на великолепном раскоряченном столике лежали сонеты Шекспира.

— По всей Европе, — продолжал беседу Костя Ротиков, — появляется сейчас интерес к барокко, к этому вполне, как вы сказали, законченному в своей незаконченности, пышному и несколько безумному в себе самом, стилю.

И они склонились над портретом Гонгоры.

— Каждое слово у Гонгоры многозначно, — поднял голову поэт, — оно употреблено у него и в одном плане, и в другом, и в третьем. Каждая строчка у Гонгоры — поэма Данта в миниатюре. А какой отчаяннейший и кричащий артистизм, старающийся скрыть душевное беспокойство; а эти щеки и шея возлюбленной, которые были некогда, в золотом веке, настоящими, живыми цветами — розами и лилиями. Для того, чтобы понимать Гонгору, надо быть человеком с соответствующей устремленностью, с соответствующим эллинистическим складом ума, это сейчас ясно, но этого еще недавно не понимали.

Неизвестный поэт откинулся к стене.

В это-то время и вошли в комнату Муся Далматова и Тептелкин.

— Как у вас уютно, — сказал Тептелкин, не замечая кукишей над головами друзей. — И сидите вы по-турецки и пьете кофе турецкий. Но здесь накурено, разрешите я открою окно.

Он подошел. Открыл форточку. — А то у Марьи Петровны голова заболит.

— Давно вы нас ждете? — спросил он.

— Мы со вчерашнего вечера сидим здесь над испанскими, английскими, итальянскими поэтами, — ответил Костя Ротиков, — и обмениваемся мыслями.

— А Аглая Николаевна пришла? — спросил Тептелкин.

— Мы ее с минуты на минуту ждем, — ответил Костя Ротиков.

Раздался стук в парадную. Костя Ротиков выскочил в переднюю. Через минуту вошла худая и извивающаяся как змея Аглая Николаевна. На плечах у нее лежал голубой песец. На груди сверкал большой изумруд, а в ушах ничего не было. Рядом с ней извивался Костя Ротиков, а с другой стороны прыгала собачка.

— Вечер старинной музыки состоится, — произнес на ухо Марье Петровне Далматовой Тептелкин.

Все прошли в соседнюю комнату.

Там уже сидели глухие старушки и старички с баками и с бородками, прыгающие барышни, пожилые молодые люди, картавящие как в дни своей юности. По стенам висели портреты в круглых золотых рамах. Рояль раскрыт, задрожали клавиши и струны.

Аглая Николаевна раскланивалась.

Поднесли цветы — розы белые.

Она нюхала, раскланивалась, улыбалась.

Худенькие ручки старушек и старичков хлопали. — Она совсем не изменилась за эти годы, — шептали они друг другу на ухо, — наша любимая Аглая Николаевна.

— Она была в 191 . г. любовницей N, — шептал пожилой молодой человек другому пожилому молодому человеку.

— У нее удивительная собачка, — шептала одна прыгающая барышня другой прыгающей барышне.

Аглая Николаевна села.

Опять поднимались руки, опять опускались клавиши, опять как бабочка билась чистая музыка.

Две барышни поднесли лилии.

— Ах, Аглая Николаевна, — говорил Костя Ротиков, — вы сегодня нам доставили чистое наслаждение.

Столовая была залита светом. Уцелевшие фарфоровые с пейзажами и портретами тарелки императорского завода по стенам лучились позолотой. На столе вина в бутылках,

водка в графинах, рюмки искрились. А вокруг нечто розовое, нечто красное, нечто белое, нечто голубое. Все было.

Но старички и пожилые молодые люди почувствовали, что это лишь копия, что настоящее умерло, что это как бы воспоминание всегда менее яркое, чем действительность. Им вдруг стало тоскливо, тоскливо... Кроме того они заметили, что для устройства этого вечера исчезли (были проданы) некоторые предметы из столовой.

— Принесите мою сумочку, — шепнула Муся Далматова на ухо Тептелкину, — она в комнате Константина Петровича.

Луна освещала комнату Константина Петровича. Ветер приподнимал бархат, прикрывавший некоторые изображения. И тут Тептелкин увидел то, чего видеть ему не надо было.

Он сжал сумочку в руках, открыл рот и сел.

— Что же это? — подумал он. — Что же это! Человек с таким тонким вкусом и вдруг... — Над ним то прикрывались бархатом, то вновь показывались десятки голых тел мужских и женских, во всевозможных положениях.

Он почувствовал, что в доме не все благополучно.

— Змеи, — вскричал он, — змеи! — и бросился вон из комнаты.

И за столом ему казалось, что наклоняются, откидываются, хохочут, говорят, склоняются, подносят вилки ко рту, с разноцветной едой, змеи с зелеными ручками и что только он и Марья Петровна живые.

Особенно его поразил неизвестный поэт. Он заметил, что поэт совершенно бел, что у него глаза зеленоватые, он уже совсем не молодой человек.

— Ешьте, ешьте, — бегали тетушки Кости Ротикова вокруг стола, — ешьте, ешьте.

И не хрусталь, а капельки света над головами люстры были хрустальные.

## Глава XVII
## Путешествие с Асфоделиевым

Червонным золотом горели отдельные листочки на черных ветвях городских деревьев, и вдруг неожиданное тепло разлилось по городу под прозрачным голубым небом. В этом неожиданном возвращении лета мне кажется, что мои герои мнят себя частью некоего Филострата, осыпающегося вместе с последними осенними листьями, падающего вместе с домами на набережную, разрушающегося вместе с прежними людьми.

— Многим из нас мерещится прекрасный юноша, — произнес неизвестный поэт.

— Наконец-то я поймал вас. Все вы извращены, — раздался смех, — поэтому вас красивый мальчишка преследует.

Собутыльник неизвестного поэта повернул голову на бычьей шее, хлопнул круглой ладонью по коленку, улыбнулся полным лицом, поправил пенснэ.

— Выпьем! — вскричал он. — Я только женщин люблю. Ни воображаемые, ни настоящие мальчишки меня не интересуют. А у женщин ручки-подушечки... Всю женщину я обсмаковать рад с макушки до пяточек.

— Вы, кажется, поэзией больше не занимаетесь? — спросил неизвестный поэт.

— Я теперь к одному издательству пристроился. Для детей программные сказки пишу, — ответил добродушный толстяк, поправляя пенснэ. Дураки за это деньги платят. Еще статейки в журналах под псевдонимом пописываю, — смакуя каждое слово, продолжал Асфоделиев. — Хвалю пролетлитературу, пишу, что ее расцвет не только будет, но уже есть. За это тоже деньги платят. Я теперь со всей

пролетарской литературой на «ты», присяжным критиком считаюсь. Товарищ, еще бутылочку, — поймал он официанта за передник.

Тот лениво пошел за пивом.

— Вот бы сейчас на поплавок прокатиться... — умильно посмотрел в окно Асфоделиев.

Вышли.

Извозчик ехал шагом по Троицкой.

— Отчего вы критических статей не пишете? — спросил Асфоделиев. — Ведь это так легко.

— По глупости, — ответил неизвестный поэт, — и по лени. Я ленив, идейно ленив и принципиально непрактичен.

— Барские замашки, — усмехнулся Асфоделиев. — Барские замашки в наше время бросить надо. Да вы все идиоты какие-то! — рассердился он. — Воли у вас к жизни совсем нет. Не хотите постоять за современность, не хотите деньги получать.

Неизвестный поэт положил руки на аметист: —

— Ничего вы, мой друг, не понимаете, ползающее вы животное.

— Это я ползаю! — раздражился Асфоделиев. — Это вы на мои деньги напиваетесь и чушь городите! Жестокий вы человек, как не стыдно вам ругать меня.

Асфоделиев поднял плечи, стал вбирать воздух.

— Скука, пойду смотреть «Лебединое Озеро». — Поднялся неизвестный поэт, быстро простился с Асфоделиевым, хотел спрыгнуть с подножки.

— Куда вы? — спросил Асфоделиев.

— В академический театр оперы и балета, — ответил неизвестный поэт.

— Извозчик, к Мариинскому театру! — Поднялась туша в пенснэ, снова села, обняла неизвестного поэта.

Извозчик направился по улице Росси.

— И я предан был стихам, — плакался Асфоделиев. — Я, может быть, более всех на свете люблю стихи, но нет во мне таланта. Он прижал неизвестного поэта к груди. Помолчали.

— Не понимаете вы в моих стихах ничего, и никто ничего не понимает! — усмехнулся неизвестный поэт.

— Что ж, вы нечто заумное? — удивился Асфоделиев.

— Заумье бывает разное, — ответил неизвестный поэт. — Я поведу вас как-нибудь к настоящим заумникам. Вы увидите, как они из-под колпачков слов новый смысл вытягивают.

— Это не те ли зеленые юноши в парчевых колпачках с кисточками, носящие странные фамилии? — удивился Асфоделиев.

— Поэзия — это особое занятие, — ответил неизвестный поэт. — Страшное зрелище и опасное, возьмешь несколько слов, необыкновенно сопоставишь и начнешь над ними ночь сидеть, другую, третью, все над сопоставленными словами думаешь. И замечаешь: протягивается рука смысла из-под одного слова и пожимает руку, появившуюся из-под другого слова, и третье слово руку подает, и поглощает тебя совершенно новый мир, раскрывающийся за словами.

И еще долго говорил неизвестный поэт. Но извозчик уже подъезжал к Академическому театру. Неизвестный поэт выскочил из коляски, за ним поднялась туша в пенснэ и расплатилась с извозчиком.

В кармане у неизвестного поэта были: куча недописанных стихотворений, необыкновенный карандаш в бархатном мешочке и монетка с головой Гелиоса, какая-то старинная книжка в пергаментном переплете, кусок пожелтевших брюссельских кружев.

В ложе, почти против сцены, сидел Кандалыкин с Наташей Голубец и с компанией. Неизвестный поэт надел

очки и с достоинством поклонился, посмотрел направо: в одном ряду с ним сидел Ротиков, немного далее — Котиков, в первом ряду — Тептелкин и философ с пушистыми усами.

— Сегодня весь наш синклит собрался, — подумал он,— профсоюзный день, все мы достали бесплатные билеты от наших почитателей и знакомых.

Оркестр лениво заиграл, лениво поднялся занавес, лениво прошел первый акт.

## Глава XVIII

## Тептелкину кажется, что за ним гонятся его друзья

Уже деревья не сохранили ни одного листка. Уже луна покрывала ложным снегом известняковые, асфальтовые панели, мостовые из досок, из восьмиугольных и четырехугольных деревянных шашек, из круглых и продолговатых черносерых камней. Уже свет ее превращал в эфирные — тяжелые двухсотлетние здания с колоннами, с портиками, с фронтонами, с фризами. Уже во мраке вечеров, под прикрепленными к вывескам, желтыми лампочками магазинов, ласкаясь или ругаясь, проплывали приапические пары, тройки и четверки по панели. Уже давно открылись зимние театры и дивертисментные театрики, и в клубах, и библиотеках, и школах привычно и неторопливо готовились к годовщине, уже полные и худые владельцы частных магазинов давно привыкли выставлять портреты вождей и украшать их посильно, уже торжество носило общенародный и непринужденный характер.

Но мои герои пытались попрежнему усидеть в высокой башне гуманизма и оттуда созерцать и понимать эпоху. Правда, они уж не чувствовали себя героями, правда, постепенно чувство долга превращалось у них в привычку. Правда, уже давно кончились предвещания неизвестного поэта и уже Тептелкин все реже и все бесплоднее говорил о поддержке культуры. И философ все реже говорил о философии и все громче о своей юности; он больше не писал книг, ведь им все равно не суждено было появиться.

Наконец, пошел настоящий снег белыми хлопьями.

Неизвестный поэт стоял с Костей Ротиковым во дворе строгановского особняка, смотрел на синий снег, слушал жужжание проводов, доносившееся с улицы.

— А, вот вы где, змеи! — ехидно прошипел Тептелкин, появляясь в воротах.

— Что с ним? — удивленно спросил Костя Ротиков, — на что он так разозлился?

Тептелкин выскочил из-под ворот и побежал длинный, худой рысцей, отталкиваясь от перил, по набережной Мойки.

— Что со мной? — думал он. — Что со мной?

И спиной почувствовал, что за ним бегут друзья и пританцовывают, и притоптывают, и ручками машут, и издеваются.

— Что со всеми нами?—прослезился он и нос к носу столкнулся с Марьей Петровной Далматовой. Мария Петровна шла в сиянии, в окружении снежных звезд, в Гостиный двор покупать туфельки. Тептелкин успокоился и пошел с ней в Гостиный двор туфельки выбирать.

— Идемте скорее, — заторопилась Муся, — скоро пять часов, скоро магазины закроют.

Гостиный двор был ярко освещен. Под аркадами из магазина в магазин Тептелкин за Марьей Петровной. Он видел высокую Петергофскую башню, видел себя ждущего с цветами друзей. Как все было ясно тогда, как все было прекрасно! Какие мы были светлые!

Тру-ру, тру-ру.

— Ах, эти туфельки совсем не те, — стонала Марья Петровна.

Тру-ру, тру-ру, из магазина в магазин бегал за ней Тептелкин, как за звездой своей.

Отстал на секунду и видит: движется, шатается неизвестный поэт навстречу.

— Вы увидите, — поднял голову неизвестный поэт, — как живет лицо, создающее нас.

## Глава XIX

## МЕЖДУСЛОВИЕ

Я проснулся в комнате, выходящей ротондой на улицу. Тихо здесь, только по вечерам чорт знает что происходит. То вынырнет из темноты какой-нибудь философствующий Управдом с багровым носом, то пробежит похожая на волка собака, влача за собой человека. То двое прохожих, с поднятыми воротниками, остановятся у фонаря и, шатаясь, друг у друга прикурят. То вдруг благой мат осветит окрестность. То человек заснет у лестницы на собственной блевотине, как на ковре. А какой город был, какой чистый, какой праздничный! Почти не было людей. Колонны одами взлетали к стадам облаков, везде пахло травой и мятой. Во дворах щипали траву козы, бегали кролики, пели петухи.

## Глава XX

## Появление фигуры

Вот я и закутался в китайский халат. Вот рассматриваю коллекцию безвкусицы. Вот держу палку с аметистом.

Как долго тянется время? Еще книжные лавки закрыты. Может быть, пока заняться нумизматикой или почитать трактат о связи опьянения с поэзией.

Завтра я приглашу моих героев на ужин. Я угощу их вином, зарытым в семнадцатом году мною во дворе под большой липой.

И снова я засыпаю, и во сне мне является неизвестный поэт, показывает на свою книжку, которую я держу в руках.

— Никто не подозревает, что эта книга возникла из сопоставления слов. Это не противоречит тому, что в детстве перед каждым художником нечто носится. Это основная антиномия (противоречие). Художнику нечто задано вне языка, но он, раскидывая слова и сопоставляя их, создает, а затем познает свою душу. Таким образом в юности моей, сопоставляя слова, я познал вселенную и целый мир возник для меня в языке и поднялся от языка. И оказалось, что этот поднявшийся от языка мир совпал удивительным образом с действительностью. Но пора, пора...

И я просыпаюсь. Сейчас уже одиннадцать часов. Книжные лавки открыты, из районных библиотек туда свезли книги. Может быть, мне попадется Дант в одном из первых изданий или хотя бы энциклопедический словарь Бейля...

— Милости просим, милости просим, — запел книжник. — Вас уже три дня не было видно. Вот у нас книги для вас; неугодно ли — по лесенке.

— А эти шагающие римляне, рассуждающие греки, воркующие итальянцы? Нет ли у вас, случайно, Филострата «Жизнь Аполлона Тианского»?

— Выбирайте, выбирайте.

— А не дорого?

— Дешево, совсем дешево.

— А где у вас археология?

— Направо по лесенке. Позвольте подставлю.

— У вас прекрасные экземпляры.

— Заботимся, заботимся, чтоб угодить покупателям.

— А давно у вас не был Тептелкин? высокого роста, почти прозрачный, с палкой японской.

— Как же, как же, знаю. Не заходил давно.

— А дама в шляпе с перьями?

— Вчера после обеда была.

— А высокий молодой человек?

— Интересующийся рисунками? третьего дня был.

— А не спрашивал ли молодой человек с голубыми глазами, со вздернутым носиком, книжек Заэвфратского?

Ночь. Внизу бело-синие снега, вверху звездно-синее небо.

Вот лопата. Я должен все приготовить для прихода моих превращающихся героев. Двор мой тих и светел. Лишенная листьев липа помнит, как мы сидели под ней много, много лет тому назад белые, желтые, розовые, и говорили о конце века. Тогда зубы у нас были все целы, волосы у нас тогда не падали и мы держались прямо.

Место в двух шагах от ствола липы по направлению к моему освещенному окну. Здесь. Луна — за облаками, идет хлопьями снег, придется рыть в темноте.

Ничего...

Правильно ли я определил место?

Еще раз от липы два шага по направлению к окну.

Раз, два.

Тут, конечно тут! Глубже?

Наконец-то!

Надо засыпать и притоптать. Снег все покроет.

Я с ящиком и лопатой, как сомнамбула, поднялся по лестнице, повернул голову и осмотрел мрак: — нет ли кого во дворе?

Никого не было.

Вино в бутылках я расставил на столе. Я привожу комнату в порядок для прихода моих друзей.

Первым пришел неизвестный поэт, прихрамывающий, с нависающим лбом, с почти атрофированной нижней частью лица и пошел осматривать мои книги.

— Все мы любим книги, — сказал он тихо. — Филологическое образование и интересы, это то, что нас отличает от новых людей.

Я пригласил моего героя сесть.

— Я предполагаю, — начал он, — что остаткам гуманизма угрожает опасность не отсюда, а с нового континента. Что бывшие европейские колонии угрожают Европе. Любопытно то, что первоначально Америка появилась перед Европой, как первобытная страна, затем как страна свободы, затем как страна деятельности.

Через час все мои герои собрались, и мы сели за стол.

— Знаете, — обратился я к неизвестному поэту, — я за вами и за Тептелкиным как-то следил ночью.

— Вы за нами всегда духовно следите, — прервал он и посмотрел на меня.

— Мы в Риме, — начал он. — Несомненно в Риме и в опьянении, я это чувствовал, и слова мне по ночам это говорят.

Он поднял апуллийский ритон.

— За Юлию Домну! — наклонил он голову и, стоя, выпил.

Ротиков элегантно поднялся: — За утонченное искусство!

Котиков подпрыгнул: — За литературную науку!

Троицын прослезился: — За милую Францию!

Тептелкин поднял кубок времен Возрождения. Все смолкло.

— Пью за гибель XV века, — прохрипел он, растопырил пальцы и выронил кубок.

Я роздал моим героям гравюры Пиранези.

Все погрузились в скорбь. Только Екатерина Ивановна не понимала.

— Что вы такие печальные, — вскрикивала она, — что вы такие невеселые!

Печь сверкала, выбрасывала искры. Я и мои герои сидели на ковре перед ней полукругом.

Яблоки возвышались на разбитом блюде.

Почти перед каждым пустые коробки из-под папирос и горы окурков. Ни я ни мои герои не знали, продолжается ли ночь или наступило утро.

Ротиков встал.

— Начнемте круговую новеллу, — предложил он.

Я поднялся, зажег свечу.

— Начните, — сказал я.

— Меня с детства поражала, — сев в кресло, начал он,— безвкусица. Я уверен, что она имеет свои законы, свой стиль. Однажды мне сообщили, что одна бывшая тайная советница продает обстановку своей комнаты. Я поспешил. Вообразите бывшую курительную комнату, в чиновничьем доме, турецкий диван, целый набор пепельниц, в виде раковин, ладоней, листочков, то на высоких,

то на низких столиках, пуфы, неизвестно для чего оставшийся письменный стол. Стены, украшенные изображениями актрис парижских театров легкого жанра. Поклонившись, я вошел. На диване очаровательное создание пело и играло на гитаре. Его пышные синеватые прошлого века юбки, обшитые золотыми пчелами, его ноги в тупых атласных туфельках! — Вы удивительная тайная советница, — сказал я поклонившись. — О нет, — засмеялось оно, — я юноша! — И указало мне глазами на пуф рядом с диваном. — Вам не холодно? — спросило оно и, не дожидаясь ответа, закутало меня в кашемировую шаль.

Опустив голову, оно стало рассматривать книжку с говорящими цветами: — Время прелестной Нана, дамы с камелиями, отошло, — прервало оно молчание и расправило свои пышные волосы. — Вы пытаетесь, — сказало оно, — возродить то ушедшее, легкомысленное и беспечное время.

Неизвестный поэт сел в кресло: — Оно все же было девушкой. Погруженное в снежную петербургскую ночь, оно провело свою раннюю юность на панели. Серебристые дома, лихачей, скрипачей в кафэ и английскую военную песенку оно любило.

Неизвестный поэт улыбнулся, поднялся с кресла и подошел к огню.

Троицын сел в кресло, продолжал:

— Посмотрев на меня, оно раскрыло веер. Оно родилось недалеко от Киева в небольшом имении.

Троицын уступил место, Котиков важно сел в кресло: — а по вечерам мать «оно» говорило о Париже, об Елисейских полях и о кабриолетах, и 16-ти лет оно убежало в Петербург с балетным артистом. Оно любило Петербург, как северный Париж.

Тептелкин встрепенулся.

— Петербург — центр гуманизма, — прервал он рассказ с места.

— Он центр эллинизма, — перебил неизвестный поэт.

Костя Ротиков перевернулся на ковре.

— Как интересно, — захлопала в ладоши Екатерина Ивановна, — какой получается фантастический рассказ!

Философ взял скрипку, сел в кресло, и вместо того, чтобы продолжать рассказ, задумался на минуту. Затем встал, заиграл кафэшантанный мотив, отбивая такт ногой.

Тептелкин, ужасаясь, раскрыл и без того огромные глаза свои и протянул руки к философу.

— Не надо, не надо, — казалось, говорили руки.

И вдруг выбежал из комнаты и уткнулся лицом в кровать мою.

А философ, не замечая происшедшего, уже играл чистую, прекрасную мелодию, и круглое, с пушистыми усами, лицо его было многозначительно и печально.

Я подошел к зеркалу. Свечи догорали. В зеркале видны были мои герои, сидящие полукругом, и соседняя комната и стоящий в ней у окна Тептелкин, сморкающийся и смотрящий на нас.

Я поднял занавеси.

Наступило уже темное утро. Уже слышались фабричные гудки. И я вижу, как мои герои бледнеют и один за другим исчезают.

## Глава XXI

## Мучения

Вернувшись домой, Тептелкин открыл резную шкатулку, вынул статуэтку пятнадцатого века, поставил ее на сундучок; оказывается, сундучок служил постаментом.

— Избавь меня от искушения, дай мне силу видеть мир прекрасным, — склонил он голову, а когда он поднял лицо, показалось ему, что не Елены Ставрогиной лицо у статуэтки, а Марьи Петровны Далматовой.

Всю ночь пробыл в задумчивости Тептелкин.

Уже кенарь пел в комнате Сладкопевцевой, уже Сладкопевцева, вернувшись с дружеской пирушки, искала воды попить. Уже шлепали ее туфли по комнатам, а Тептелкин все следил образ уходящего мира, когда он был юн, совершенно юн.

К утру гуманизм померк, и только образ Марии Петровны сиял и вел Тептелкина в дремучем лесу жизни.

К вечеру Тептелкин сидел у стола и испытывал некое мучение. Он вспомнил, что некоторые великие люди воздержались.

— Как же я, — думал Тептелкин, — поддамся соблазну и женюсь? А может быть природа совсем не для того меня создала. Женюсь — и ослабеет моя память, исчезнут дивные и неясные грезы, исчезнут эти ясные утренние часы и спокойные ночи. Рядом со мной будет стареть женщина, и я замечу, что я старею. Да, трудный вопрос, — заходил Тептелкин по комнате. — А может быть я не в силах буду жениться, может быть, я не мужчина. Может быть, тело у меня не созревшее. Что ж, женюсь, а потом ужас...

Ему стало страшно, он машинально открыл дверь, но никто не вошел.

Тептелкин налил холодного чаю, выпил залпом.

— А может быть вся моя мужская сила в ум перешла. Как быть, как быть? — закрыл он дверь. — Жениться хочу, а может быть тело мое не хочет. Но некоторые очень поздно созревают. Может быть и я созрею когда-нибудь.

Еще быстрее заходил Тептелкин в темноте по комнате.

Внизу, в разрушенном подвале, работники варили мыло. Сквозь щели пола пробивался едкий пар. На улице за запертыми воротами дворник, на тумбе, читал Тарзан, поднося книжку к глазам.

И тут-то появилась в комнате Тептелкина необыкновенная, двадцатитрехлетняя девушка — Марья Петровна Далматова; в соломенной шляпке казалось она срывала цветы с красного досчатого пола, протягивала их Тептелкину. Тептелкин склонялся, подносил их к носу, набожно целовал. Затем она начала плясать, и Тептелкин услышал необыкновенные голоса и увидал, что у ней в руках дрожит стебелек и наливается бутон, распускается голубой цветок.

— О как развращен мой мозг, — заходил Тептелкин по комнате.

В это время дежурный дворник докончил читать Тарзана, походил перед домом, снова сел на тумбу и задремал . . .

Тептелкин появился в окне.

— Какие звезды, — подумал он. — И под таким звездным небом мне мерещатся такие гадости. Наверно я самый скверный человек в мире.

Тептелкин вышел из дому. Окна домов изнутри освещены то резким, то сентиментальным, то безразличным светом. Тептелкин судорожно идет в своем осеннем пальто. В эту ночь испытает он, мужчина ли он или нет, и может ли

он жениться, вступить в брак с Марьей Петровной Далматовой. Тептелкин идет, торопясь, от улицы Лассаля к Октябрьскому вокзалу. Иногда он посреди панели останавливается на мгновенье, иногда обгоняет прохожих и делает то, что он никогда до сих пор не делал, — заглядывает под шляпки.

Он ищет самую уродливую, чтоб не могло быть и речи о любви. Он останавливается, ему предлагают услуги почти дети, с похабным выражением глаз, со скверной улыбочкой, с утрированными ребяческими движениями.

Он вростает в землю перед ними, и они, источив свое красноречие, покрывают его словами и спешат в даль. Иногда Тептелкина обгоняет существо на стоптанных каблуках, с отсутствием румян на щеках, с невообразимо желтым горностаем вокруг шеи и, стараясь сохранить ушедшее достоинство, шепчет:

— Первые ворота направо.

Наконец он видит то, что ему надо было. Из пивной, недалеко от Лиговки, выходит женщина широкая, крепкокостная, крупнозубая.

— Вы в бога веруете? — обращается к ней Тептелкин.

— Конечно, верую! — женщина осеняет себя крестным знамением.

— Идемте, идемте, — энергично Тептелкин тащит ее вниз по Невскому.

— Меньше чем за три рубля не пойду! — угрюмо осматривая фигуру Тептелкина, заявляет она.

— Это все равно, это безразлично, — утверждает Тептелкин и тащит ее за рукав по Невскому.

— Куда ты тащишь меня? Я близко живу. А ты чорт знает куда меня тащишь.

Останавливается женщина и выдергивает руку.

— Потом, потом, я пойду к вам, но сначала вы должны поклясться.

— Да что ты, пьян, что ли, какой клятвы тебе еще нужно?

И она с удивлением, почти с испугом уставилась в вибрирующее лицо Тептелкина.

— Все зависит от этой ночи, — не слыша, шептал Тептелкин. — Вся дальнейшая жизнь моя зависит от этой ночи! Жениться хочу, — стонало в Тептелкине. — Жениться! Испытание сегодня, на перекрестке я, на ужасном. Если я окажусь мужчиной, я женюсь на Марье Петровне, если нет — то евнухом, ужасным евнухом от науки буду!

— Да что ты шепчешь! — вскрикивает женщина. — долго мы стоять на улице будем?

— Идемте, идемте, — заспешил Тептелкин, — идемте.

— Да ты, кажется, к собору меня ведешь? — раскрыла желтые глаза женщина.

Но Тептелкин уже тащил ее к стене, где мерцала икона.

— Поклянитесь, что вы не заражены, — остановился он перед иконой. — Поклянитесь! — провизжал он.

— Ах ты бес! — рассердилась женщина и, качая юбкой, скрылась в пролете.

Марья Петровна сидела в своей комнате с кисейными занавесками за столиком и гадала на картах. За окном была ночь, за спиной на стене карточка.

Вокруг стула, на котором сидела она, ходила кошка Золушка.

Марья Петровна кончила гадать и погрузилась в давно закрытую студию пения времен военного коммунизма. Не мечтала ли она стать великолепной певицей! Вот стоит она у рояля и поет, а там восторженная публика, двери ломятся от публики, стены раздвигаются от публики, подносят Марье Петровне конфекты, цветы и дорогие вещи. Задумалась, оперлась на локоть Марья Петровна и погрузилась в недавно оконченный университет с его аркадами, коридорами, с многочисленными аудиториями, с профес-

сорами и студентами. Не мечтала ли она стать ученой женщиной, писать книги о литературе, говорить в кругу профессоров, внимательно слушающих?

Уже на улице пусто, и только милиционеры, аккуратно одетые, пересвистываются, а затем ходят по парам и беседуют.

Марья Петровна гадает на картах: кем она будет. Она видит Тептелкина, он стоит внизу, жалкий, озябший, смотрит на освещенное окно комнаты, где сидит она и гадает.

— Влюблен, конечно, влюблен! — Ей становится тепло и уютно.

Шелестят листья, летают летучие мыши, она и Тептелкин идут к морю, садятся на камне. Под серебряной луной, встав, она поет как настоящая певица, приехавшая из-за границы на гастроли, а Тептелкин сидит и смотрит на море, слушает.

Она взглянула в окно: стоит ли Тептелкин? — Стоит.

Кажется ей — ясное утро. Тептелкин сидит, работает, она стоит, гладит крахмальное белье для него. Взглянула Марья Петровна в окно: стоит ли Тептелкин? — Стоит. И показалось ей, что у него глаза жалобные.

— Но как же со свадьбой? — Вернувшись, он сел на постели глубокой ночью. Одеяло лежало на полу, седеющие волосы стояли дыбом. Стена мерцала от лунного блеска. Вся комната была пронизана луной. — Если я честный человек, то я должен жениться на Марье Петровне Далматовой. Ведь нельзя девушку целый год водить за нос.

Он встал в рубашке; рубашка была длиннее спереди, короче сзади. Достал свечку из комода, зажег и ждал, когда же она разгорится. Наконец свеча просияла звездой. — Надо отвлечься, — подумал он. Закутался в одеяло, сел к столу, стал сличать Пушкина с Андрэ Шенье.

Toujours ce souvenir m'attendret et me touche.

Читал он и невольно отвлекся от сличения: тихие деревья, покрытые желтыми, красноватыми листьями, рябили над его головой. Марья Петровна сидела внизу. Вдали колыхалось море, и пел ветер.

К утру мерещился Тептелкину сад тишайший. Солнце внутри церквей, монахи, сморкающиеся в руку, олеандры цветущие, нежное, розовое море, кашлящие, как чахоточные при пробуждении, колокола, виноградная лоза, еще покрытая росой, и чаёк на блюдечке, и хрюканье валяющихся свиней за оградой. И казалось ему, что он верит в чертей и в искушенье. Хотел бы он уйти отсюда, сесть на высокую, величественную гору и смотреть на весь мир и наслаждаться. И казалось ему, что его там обязательно обступят бесы, а он отвернется и отринет — «не хочу, — скажет он, — итти с вами, не вашей я породы, всю жизнь с вами боролся». И взыграют и закричат ему бесы: — «Эх ты, вечный юноша!» И еще увидел Тептелкин, будто впереди бесов выступал неизвестный поэт, а с ним рядом, по бокам, извивались — Костя Ротиков и Миша Котиков.

— Исчезните, проклятые! — вскочив, затопал Тептелкин: на столе кофе и хлеб с маслом, а у кровати стоит хозяйка.

— Во сне стонали вы, а утро-то какое!

Действительно, над геранью, стоявшей на подоконнике, виднелось, ослепляющее прозрачностью, зимнее небо.

— Вы юноша, совсем юноша, — помолчав, вздохнула хозяйка. — Несмотря на то, что седеете. Сейчас, когда я уйду, должно быть опять вскочите, достанете с полки книжку и начнете восторгаться.

И шмыгнула в дверь, прошуршав платьем, как змея хвостом.

## Глава XXII

## Женитьба

Тептелкин шел по мерзлому тротуару. Прошел мимо ночного трактира. Услышал музыку.

— Наверно там сейчас играют авлетриды. Он прошел мимо диктериад, довольно разнузданных, грузнотелых баб, ругающихся крылатыми словами. — Наречие притонов, — определил он, — интересно исследовать, откуда и как появилось это наречие.

Он унесся во Францию XIII века, когда создавалось арго. Вокруг Тептелкина кружились и падали ругательства.

По ступенькам вбегал в мутную дверь и выбегал народ, обросший запахом сапог, папирос «Сафо» и вина. В стороне человек бил тонконогую диктериаду кулаками, стараясь попасть в рыло, в грудь или в другое чувствительное место. Диктериада отбивалась, кричала — «милиционер, милиционер!» — но милиционер показал спину и отошел осматривать свой участок.

Собралась улюлюкающая толпа. Слишком били, слишком шумели. Появились два конных милиционера на дрессированных лошадях. Врезались в толпу, и лошади начали танцовать, как в цирке, разгонять подвыпивших.

Тептелкин вошел в дом. Марья Петровна Далматова ждала его. Комнаты были прибраны, кисейные занавески белели. Старинный образ смотрел темными глазами. Тептелкин почувствовал трепет, входя в девичью комнату. Муся стояла. В первый раз заметил он, что у ней волосы пушистые, носик остренький, губы маленькие.

— Я пришел вам предложить... заниматься латинским языком, — сказал он.

— Зачем? — удивилась Муся и засмеялась.

— Чтобы лучше почувствовать город, в котором мы находимся, — ответил Тептелкин.

— Я и без латинского языка знаю город, — ответила Муся. Но я вам рада. Вы такой славный, такой славный. Дайте шляпу и палку.

Они сели на старенький диван.

— Где ваш друг? — спросила она, чтобы начать разговор.

— Он очень занят, — ответил Тептелкин. — Я его давно не видел. Мне передавали, что...

— Нет, нет, я так спросила, — перебила Муся, — лучше расскажите, чем вы занимаетесь.

— Нет, нет, не будем говорить обо мне, — ответил Тептелкин. «Как сказать, думал он, как сказать о самом главном?»

— Моя мама скоро придет из церкви, — сказала Муся. — Мы напьемся чаю с вареньем.

— Как же сказать о самом главном, — сидел Тептелкин, — сказать такому невинному и светлому существу?

Он побледнел.

— Извините, я очень спешу, — и, почти не попрощавшись, вышел.

— Живот у него что ли заболел! — рассердилась Муся. Ей стало скучно. Она подошла к клетке и, задумавшись, стала тыкать кенаря пальцем. Тот перелетал с жердочки на жердочку.

— Экая пакость, — подумала Муся, — все мои подруги выскочили, а я остаюсь. Скука-то какая!

Она подошла к пианино, стала играть «Экстазы» Скрябина.

Вошла мать.

— Убери книги со стола, — сказала она.

— Какие книги? — продолжая играть, повернула Муся голову. — Ах, должно быть Тептелкин забыл.

Подошла к столу, стала перелистывать книги.

«Vita Nuova»

прочла вслух.

— Пустяками человек занимается, — заметила мамаша.

Из одной книги выпал листок. Муся подняла:

Мой бог гнилой, но юность сохранил.
И мне страшней всего упругий бюст и плечи,
И женское бедро, и кожи женской всхлип,
Впитавшей в муках муку страстной ночи.
И вот теперь брожу, как Ориген,
Смотрю закат холодный и просторный.
Не для меня, Мария, женский плен
И твой вопрос, встающий в зыби черной...

В страшном волнении Тептелкин вернулся домой и тут только заметил, что забыл книги.

— Боже мой! — почти закричал он. — Марья Петровна прочла. Он сел на постель и запустил пальцы в свои седеющие волосы.

В это время раздался звонок.

— Это я, — ответил голос.

В комнату вошел неизвестный поэт.

— Не отчаивайтесь, — на прощанье сказал неизвестный поэт, — все устроится. Девушек никто не знает.

Муся прочла поднятый листок и задумалась. Быстро выпила чашку чая. Сказала, что голова болит, легла в постель.

— Какой славный Тептелкин! Значит правда, что он девственник. Боже мой, как интересно! Это удивительный человек в нашем городе. Скотов, ведь, сколько угодно. Как грустно жить ему, должно быть... Обязательно выйду за него замуж. Мы будем жить как брат с сестрой. Удивительной жизнь будет наша.

Утром неизвестный поэт вошел в Мусину комнату.

— Я пришел за книгами Тептелкина, — сказал он. —

Тептелкин в ужасе, что вчера он так неожиданно ушел. Вы просматривали книги? — спросил неизвестный поэт.

— Нет, — ответила девушка. — Я итальянскому языку не обучалась.

— Тептелкин очень любит вас и страшно идеализирует, — заметил, как бы про себя, неизвестный поэт.

— Я тоже люблю Тептелкина, — заметила тоже как бы про себя девушка.

— Вы составили бы счастливую пару, — отходя к окну, как бы в пространство, сказал неизвестный поэт.

Увидев, что девушка покраснела, он попрощался и вышел, унося книги.

— Они самоотверженные существа, — проговорил неизвестный поэт, входя в комнату Тептелкина. — Я сказал, что вы ее любите и просите ее руки.

Пели певчие. На розовом атласе стояли Марья Петровна и Тептелкин. Над их головами легкие венцы с поддельными камнями. Марья Петровна в белом платье, Тептелкин в черном костюме. Позади любопытствующие инвалиды и папиросницы, старушки от Моссельпрома. Брак совершался тайно.

После свадьбы долго стоял Тептелкин на балконе, смотрел вниз на город, но не видел пятиэтажных и трехэтажных домов, а видел тонкие аллеи подстриженных акаций и на дорожке Филострата. Высокий юноша с огромными глазами, осененными крылами ресниц, шел, фонтаны глотали воду, внизу дрожали лунные дуги, а наверху дворец простирал свои крылья, а там, за аллеей фонтанов, море и рядом с юношей, почтительно согнувшись, идет он — Тептелкин.

## Глава XXIII
## Ночное блуждание Ковалева

Зимой Наташе стало легче. Ей показалось, что Кандалыкин должен полюбить ее. Она решила, что пора бросить глупости и выйти замуж.

Прошел месяц.

В декабрьский вечер, по мягкому снегу, Кандалыкин пришел. Это был техник.

— Мускулы-то, мускулы-то какие, — говорил он после чая. — Я настоящий мужчина, не то что расслабленная интеллигенция. Мой отец швейцар, а я в люди вышел. Я теперь могу для вас обстановку создать, можно сказать, золотую клетку. Вам работать не придется; я, можно сказать человек стал, но мне нужна жена, о которой заботиться надо. У всех моих товарищей жены — что надо, высшие существа.

— Я не девушка, — скромно потупила глаза Наташа.

— Вот удивила, — ответил Кандалыкин, — девушки за последние годы в тираж вышли. Девушек в нашем городе вообще нет. Мне надо дом на хорошую ногу поставить, с вазочками, с цветами, с портьерами. Я хороший оклад получаю. А девушка мне на что. А вы и наук понюхали, и платья носить умеете. Мне нужна образованная жена, чтоб перед товарищами стыдно не было. Вы у меня салон устроите. Я человек с запросами. Мы за границу попутешествовать поедем. Я английскому языку обучаюсь. Я энциклопедию купил, я сыну француженку нанял. У меня две прислуги, я не кто-нибудь, я — техник.

Миша Ковалев за этот год ничего не добился. Изредка работал на поденной. В такие дни вставал он в шесть ча-

сов утра, застегивал проженную шинель, отправлялся носить кирпичи, ломать разрушающиеся здания, возил щебень на барки. Только к концу года добился он постоянной работы, прошел в профсоюз, стал старшим рабочим по бетону. Все чаще подумывал он о женитьбе. Начал копить деньги. Решил в первый пасхальный день просить руки Наташи.

Утром в первый день Пасхи, как всегда в этот день, он вытащил китель с бомбочками из глубины шкафа, достал из-под половицы погоны с зигзагами и вензелями, осмотрел китель, покачал головой, осмотрел чарчиры и еще более задумался. Они были изрядно поедены молью. Достал иголки, нитки; привел свое достояние, насколько мог, в порядок, оделся, вымыл руки дешевым о-де-колоном, качая головой смотрел на свои поредевшие волосы, застегнул поношенное, купленное по случаю, статское пальто и, махнув рукою, вышел.

Он даже нанял извозчика, ехал и думал: вот опять он взбежит по лестнице, ему, как всегда в этот день, откроет дверь Наташа, он вскочит в комнату, похристосуется, — «извините, — скажет он, сбросит пальто, наденет шпоры. Затем они опять споют вместе «Ах, увяли давно хризантемы», затем он один споет пупсика, затем он скажет, что получил постоянное место и предложит ей руку и сердце.

Извозчик остановился. Михаил Ковалев расплатился и быстро побежал вверх. Долго стучал он. Наконец ему открыла бывшее ее превосходительство. Он прошел в переднюю, поцеловал мягкую руку, поздравил, сказал: «Простите, Евдокия Александровна, я сейчас». Надел шпоры, снял пальто, повесил. Вошел в комнату. Генеральша тщательно за ним заперла дверь.

— Какое идиотство, — вскричал, быстро вставая, генерал Голубец, вместо приветствия, — на седьмом году

революции щеголять в форме. Вы еще нас подведете. Не смейте являться ко мне в форме!

Выходя, рассерженно хлопнул дверью.

— Где Наташа? — спросил растерянно Ковалев.

— Наташа вышла замуж, — ответила рыночная торговка.

«Как же я? — подумал Миша Ковалев. — Что же мне теперь делать!»

Постоял, постоял.

— Вам лучше уйти, — тихо сказала рыночная торговка. — И поднесла платок к глазам. — Иван Абрамович сердится.

Протянула руку.

Долго возился Миша в полутемной передней, чуть не позабыл снять шпоры, застегнул пальто, поднял воротник, надел мягкую летнюю шляпу.

— Что будет, что будет?

Вспомнил присмотренную комнату для совместной жизни. Вспомнил, как на прошлой неделе приценялся к столику, двум венским стульям, потрепанному дивану.

Прислонился к перилам. Летняя шляпа полетела вниз. Он сошел по ступеням, поднял ее, вышел из дома, остановился, посмотрел на освещенное окно в верхнем этаже. Никогда, никогда не войдет он больше туда. Никто его ласково не встретит, и нет у него жены, и нет у него формы, никогда он больше ее не наденет.

«Какая страшная жизнь», — подумал он.

Всю ночь блуждает Ковалев перед темной массой зданий женской гимназии. Погасли все огни, забылся тяжелым сном город.

Сквозь тяжелую дрему пришли к Ковалеву кавалеры и дамы. Кавалер-юнкер крутит усы и танцует мазурку.

Как он быстро опускается на одно колено! Как барышня несется вокруг него!

Фонари маскарадные горят — все в полумасках, у всех дам бутоньерки. И взвивается серпантин вокруг люстр и цветной падает.

«Как быстро пала империя, — думает Ковалев. — Отреклись от нас отцы наши. Я не ругал последнего императора, как ругал отец мой, как ругали почти все, оставшиеся в городе, штаб-офицеры».

— Да будет ли он любить ее так, как я? — прислонился он головой к женской гимназии.

— Как она несчастна! — почти плакал он.

И все искал по городу успокоения.

И опять возвращался к женской гимназии и стоял и грустно крутил гусарские усики.

Наташа распоряжалась. Стол ломился от закусок. В хрустальных графинах стояло 30° вино. Мерцали бокалы, купленные по дорогой цене у одного разорившегося семейства. Огромная пальма осеняла своими листьями Кандалыкина, сидевшего посредине. Вокруг сидели подвыпившие друзья Кандалыкина.

После ужина пела знакомая певица из академического театра. Длинноволосый поэт читал стихи, в которых повествовалось о цветах нашей жизни — детях. Затем он читал о свободе любви, затем зашел разговор о последних новостях на заводе, об очередной растрате. Затем Н. Н. подрался с М. Н. и долго и упорно били друг друга по морде. А потом заплакали, помирились.

Под утро длинноволосый поэт говорил Наташе о необходимости бороться с порнографией.

— Подумать только, — высказывал он новые и оригинальные мысли, — скоро, чего доброго, у нас появится новая Вербицкая. И чего это цензура смотрит. У нас должна

быть жесткая и неумолимая цензура. Никакой поблажки порнографам.

— Но вы ведь пишете о свободной любви, — задумчиво вращая кольцом с бриллиантиком, сказала Наташа.

Молодой поэт стал играть носком желтого ботинка.

## Глава XXIV

## Под тополями

Снова весна. Снова ночные встречи у барочных, неоримских, неогреческих архитектурных островов (зданий). Толщенные деревья Летнего сада, молодые деревца на площади Жертв Революции, кустики Екатерининского сквера напоминают о времени года, рассеянному или погруженному в сутолоку жизни. Пробежит какая-нибудь барышня, посмотрит на деревцо:—А ведь весна-то . . . и станет ей грустно. Пробежит какая-нибудь другая барышня, посмотрит на деревца: — а ведь весна-то! и станет ей весело. Или посидит какой-нибудь инвалид на скамеечке, бывший полковник, получающий государственную пенсию, и вспомнит: — Здесь я ребенком в песок играл, — или: — там в экипаже ездил. И вздохнет и задумается, вытащит пыльный платок, издающий целую серию запахов: черного хлеба, котлет, табаку, супа и отчаянно высморкается. Спрячет платок — и нет в воздухе целой серии запахов.

Или пройдут по аллейке — ученик трудовой школы, нежно обнявшись с ученицей трудовой школы, и сядут рядом со старичком, и начнет ученица щебетать, и длинношеий ученик на ее макушку петушком посматривать и кукурекать. Или опять появится Миша Котиков, известный биограф, и сядет вот на ту скамеечку у небольшого кустика и начнет пробивающуюся бородку пощипывать, раскроет записную книжечку, опустит голубенькие глазки и примется список оставшихся знакомых Заэвфратского просматривать.

Неизвестный поэт за последние годы привык к опустошенному городу, к безжизненным улицам, к ясному голубому небу. Он не замечал, что окружающее изме-

няется. Он прожил два последних года в оформлении и осознании, как ему казалось, действительности в гигантских образах, но постепенно беспокойство накапливалось в его душе.

Однажды он почувствовал, что солгали ему — и опьянение и сопоставление слов.

И на берегу Невы, на фоне наполняющегося города, он повернулся и выронил листки.

И вновь закачались высокие пальмы.

Неизвестный поэт опустил лицо, почувствовал, что и город никогда не был таким, каким ему представлялся, и тихо открыл подсознание.

— Нет, рано еще, может быть, я ошибаюсь, — и как тень задвигался по улице.

— Я должен сойти с ума, — размышлял неизвестный поэт, двигаясь под шелестящими липами по набережной канала Грибоедова.

— Правда, в безумии для меня теперь уж нет того очарования, — он остановился, склонился, поднял лист, — которое было в ранней юности, я не вижу в нем высшего бытия, но вся жизнь моя этого требует, и я спокойно сойду с ума.

Он двинулся дальше.

— Для этого надо уничтожить волю с помощью воли. Надо уничтожить границу между сознательным и подсознательным. Впустить подсознательное, дать ему возможность затопить светящееся сознание.

Он остановился, облокотился на палку с большим аметистом.

— Придется навсегда расстаться с самим собой, с друзьями, с городом, со всеми собраниями.

В это время к нему подбежал Костя Ротиков.

— Я вас ищу, — сказал он. — Мне про вас сообщили ужасную новость. Мне сказали, что вы сошли с ума.

— Это неправда, — ответил неизвестный поэт, — вы видите, уме я в здравом, но я добиваюсь этого. Но не думайте, что я занят своей биографией; до биографии мне дела нет, это суетное дело. Я исполняю законы природы; если б я не захотел, я бы не сошел с ума. Я хочу — значит я должен.

Начинается страшная ночь для меня.

Оставьте меня одного.

Ибо человек перед раскрывшейся бездной должен стоять один, никто не должен присутствовать при кончине его сознания, всякое присутствие унижает, тогда и дружба кажется враждой. Я должен быть один и унестись в свое детство. Пусть явится мне в последний раз большой дом моего детства, с многочисленностью своих разностильных комнат, пусть тихо засияет лампа над письменным столом, пусть город примет маску и наденет ее на свое ужасное лицо. Пусть моя мать снова играет по вечерам «Молитву Девы», ведь в этом нет ничего ужасного, это только показывает контраст ее девических мечтаний с реальной обстановкой, пусть в кабинете моего отца снова находятся только классики, несносные беллетристы и псевдо-научные книги, — в конце концов не все обязаны любить изощренность и напрягать свой мозг.

— Но что будет с гуманизмом? — трогая остренькую бородку, прошептал Костя Ротиков, — если вы сойдете с ума, если Тептелкин женится, если философ займется конторским трудом, если Троицын станет писать о Фекле, я брошу изучать барокко, — мы последние гуманисты, мы должны донести огни. Нам нет дела до политики, мы не управляем, мы отставлены от управления, но мы, ведь, и при каком угодно режиме все равно были бы заняты или науками или искусствами. Нам никто не может бросить упрек, что мы от нечего делать взялись за искусство, за науки. Мы, я уверен, для этого, а не для чего иного

и рождены. Правда, в пятнадцатом, в шестнадцатом веках гуманисты были государственными людьми, но ведь то время прошло.

И Костя Ротиков повернул свои огромные плечи к каналу.

Тихо качались липы. По Львиному мостику молодые люди прошли на Подъяческую и принялись блуждать по городу.

— Восемь лет тому назад, — думал неизвестный поэт, — я так же блуждал с Сергеем К.

— Но теперь пора, — сказал он, — я пойду спать.

Но лишь только Костя Ротиков скрылся, лицо у неизвестного поэта исказилось.

— О-о . . . — сказал он, — как трудно мне было притворяться спокойным. Он говорил о гуманизме, а мне надо было побыть одному и собраться с мыслями. Он был жесток, я должен был пережить снова всю мою жизнь в последний раз, в ее мельчайших подробностях.

Неизвестный поэт вошел в дом, раскрыл окно:

— Хоп-хоп, — подпрыгнул он, — какая дивная ночь.

— Хоп-хоп! — далеко до ближайшей звезды.

Лети в бесконечность,
В земле растворись,
Звездами рассыпься,
В воде растопись.

— Чур меня, чур меня, нет меня, — он подскочил.

Лети, как цветок в безоглядную ночь,
Высокая лира, кружащая песнь.
На лире, я точно цветок восковой
Сижу и пою над ушедшей толпой.

— Голос, повидимому, из-под пола, — склонился он. — Дым, дым, голубой дым. Это ты поешь? — склонился он над дымом.

Я Филострат, ты часть моя.
Соединиться нам пора.

— Кто это говорит? — отскочил он.

Пусть тело ходит, ест и пьет —
Твоя душа ко мне идет.

Ему казалось, что он слышит звуки систр, видит нечто, идущее в белом, в венке, с туманным, но прекрасным лицом. Затем он почувствовал, что изо рта его вынимают душу; это было мучительно и сладко. Он приподнял веко и хитро посмотрел на открывающийся город. Улицы были затоплены людьми, портики блестели, колесницы неслись.

— Вот как! — встал он. — Я, кажется, пробуждаюсь. Мне снился какой-то страшный сон.

— Куда вы, куда вы, Аполлоний! — услышал он голос.

— Останься здесь, — качаясь, выпрямился неизвестный поэт. — Я сейчас вернусь, мне надо посоветоваться о путешествии в Александрию.

Он вышел из дому и, шлепая туфлями, шел по тротуару.

Поминутно он раскланивался с воображаемыми знакомыми.

— Ах, это вы, — обратился он к прохожему, принимая его за Сергея К. — Как это любезно с вашей стороны, что вы воскресли? — хотел он сказать, но не смог.

«Я не владею больше человеческим языком, — подумал неизвестный поэт, — я часть Феникса, когда он сгорает на костре».

Он услышал музыку, исходившую от природы, жалобную как осенняя ночь. Услышал плач, возникающий в воздухе, и голос.

Неизвестный поэт сел на тумбу, закрыл лицо руками.

Встал, выпрямился, посмотрел вдаль.

Утром неизвестный поэт совершенно белый сидел на тумбе, втянув голову в плечи, бессмысленные глаза его бегали по сторонам. Воробьи кричали, чирикали, кралась

кошка, открылось окно, и голый мужчина сел на подоконник спиной к солнцу. Затем открылись другие окна, запели кенари. Послышалось плескание воды, появилась рука, поливающая цветы, появились две руки, развешивающие пеленки, появился человек и поспешил, другой человек появился и тоже поспешил.

## Глава XXV

### МЕЖДУСЛОВИЕ

Собственно идея башни была присуща всем моим героям. Это не было специфической чертой Тептелкина. Все они охотно бы затворились в Петергофской башне.

Неизвестный поэт занимался бы в ней слово-гаданием. Костя Ротиков не отказался бы от нее как от явной безвкусицы.

Пока я пишу, летит ненавистное время. В великом рассеянии живут мои герои по лицу Петербурга. Они не встречаются больше, не совещаются. И хотя уже весна, восторженный Тептелкин не ходит по парку, не срывает цветов, не ждет друзей... К нему друзья не приедут. Не встанет он рано утром, не будет читать сегодня одну книгу, завтра другую.

Не будут они говорить в спящем парке, что хотят их очаровать, что они представители высокой культуры.

## Глава XXVI

## Марья Петровна и Тептёлкин

Прошло два года.

Уже Тептелкину было тридцать семь лет. Уже он был лыс и страдал артериосклерозом, но все же он любил читать Ронсара и, возвращаясь со службы из Губоно домой и пообедав, он сидел, окруженный Петраркой и петраркистами и плеядой, и совсем близко от него стоял нежный и ученый Полициано.

Марья Петровна сидела у Тептелкина на коленях и целовала его в шею и, вращаясь, целовала в затылок и изредка радостно подвизгивала.

— Да, — философствовал Тептелкин, — конечно, Марья Петровна не Лаура, но ведь и я не Петрарка.

В тихой квартире его, — квартира состояла из двух комнат, — пахло обезьянами — уборная была недалеко — и кислой капустой — Марья Петровна была хозяйственная натура. У окон стояли двухлетние виноградные кусты, чахлые и прозрачные. Над головами супругов горела электрическая лампочка.

Уже не было у Тептелкина никаких мыслей о Возрождении. Погруженный в семейный уют или в то, что казалось ему уютом, и поздно узнанную физическую любовь, он пребывал в некоторой спячке, все время усиливающейся от прикосновений Марьи Петровны. Нельзя сказать, что он не замечал недостатков Марьи Петровны, но он любил ее, как старая вдовушка любит портрет своего мужа, изображающий то время, когда исчезнувший был еще женихом. Целуя Марью Петровну, он чувствовал, что в ней живет прекрасная мечта о невозможной братской любви и что, как только она начнет говорить об этой любви, выходит глупо.

Давно он расстался со всеми надеждами, отрекся от них, как от иллюзии неуравновешенной молодости. Все это были инфантильные мечты, — между прочим, иногда, говорил он Марье Петровне.

Уже был у него в кармане чистый носовой платок и вокруг шеи заботливо выстиранный воротничек, и часто к нему заходил изящно одетый Кандалыкин и говорил о новом быте, о том, что заводы строятся, о том, что в деревнях не только электричество, но и радио, о том, что развертывается жизнь более красочная, чем Эйфелева башня, что на юге строится элеватор, второй в мире, после нью-иоркского, что копошатся тысячи людей — инженеров, рабочих, моряков, штейгеров, грузчиков, кооператоров, извозчиков, десятников, сторожей, механиков.

«Пусть, — думал Тептелкин, — ярко освещены электричеством деревни, пусть мычат коровы в примерных совхозах, пусть сельскохозяйственные машины работают на лугах, пусть развертывается жизнь более красочная, чем Эйфелева башня — чего-то нет в новой жизни».

Марья Петровна разливала чай в недорогие, но приятные чашки с мускулистыми фигурами. На прощанье, склоняясь, Кандалыкин целовал нежно руку Марьи Петровны и просил зайти Тептелкина и Марью Петровну, провести вечерок.

Но все же тихой музыкой билось сердце Тептелкина, все же в глубине души он верил в наступающие мир и тишину, грядущее сотрудничество народов.

Под руку с Марьей Петровной Тептелкин идет к Кандалыкиным. Идут они по проспекту 25-го Октября.

Идут они, лысый и маленькая, а вокруг магазины правительственные. Если поднять глаза — дома крашеные. Нога чувствует панели ровные.

Ласково встретил Кандалыкин супругов.

— Ну как? — обратился он к Тептелкину. — Как ваши лекции? Легче вам теперь материально? Жаль мне было, что такой человек пропадал.

— Да, он совсем увлечен ими, — ответила за Тептелкина Марья Петровна. — Он вам благодарен, он изучает социальные перевороты от Египта до наших дней.

— Помните, — прохаживается по комнате Кандалыкин, — как я несколько лет тому назад случайно попал на вашу лекцию? Я тогда понял, что вы человек превосходный. Хотя вы читали тогда бог знает какую ерунду.

— Не ерунду я читал, — оправдывается Тептелкин, — только все ерундой какой-то вышло.

Весна не наступала. Вода из-под почвы била и брызгала, когда кто-либо из ранних дачников или из двухнедельных обитателей домов отдыха и здравниц пускался в поле. Деревья стояли омерзительно-голые, и на фоне их дрались петухи, лаяли собаки на прохожих, и дети, засунув палец в рот, созерцали провода.

Тептелкин был печален. Он шел домой и думал о том, что вот и палец можно истолковать по Фрейду, он думал о том, что вот омерзительная концепция создалась столь недавно.

Читал ли он философское стихотворение, вдруг фраза приковывала его внимание и даже любимое стихотворение Владимира Соловьева:

> Нет вопросов давно и не нужно речей.
> Я стремлюсь к тебе, словно к морю ручей, —

приобрело для него омерзительнейший смысл.

Он чувствовал себя свиньей, валяющейся в грязи. Он, вытянув губы трубой, стоял в задумчивости.

Молочница возвращалась из города, громыхая пустыми бедонами из-под молока.

«Да, продает с водой, — подумал он, и еще сильней вытянул губы.

Молочница взглянула на худощавого человека с вытянутыми губами в виде трубы и прошла мимо.

Небо опять потемнело, небольшое легкое пространство скрылось, пошел мелкий дождь.

Тептелкину было все равно, он только надел шляпу и закрыл глаза. «Надо итти».

— Пришел, — встретила Марья Петровна Тептелкина, — что же ты по дождю шляешься? Это неостроумно. Повестка тебе, твоя книга идет вторым изданием.

— Биография! — воскликнул Тептелкин, — всякую дрянь печатают. Чем хуже напишешь, тем с большей радостью принимают.

— Да что ты ругаешься, не хочешь писать — не пиши, никто тебя за язык не тянет, — рассердилась Марья Петровна.

— Эпоха, гнусная эпоха меня сломила, — сказал Тептелкин и вдруг прослезился.

— Точно с бабой живу, — подпрыгнула Марья Петровна, — вечные истерики!

Тептелкин ходил по саду, яблоня, обглоданная козами, стояла направо, куст сирени с миниатюрными листьями — налево. Он ходил по саду в галошах, в пенснэ, в фетровой шляпе.

— Никто не носит теперь пенснэ! — кричала из окна Марья Петровна, чтобы его позлить. — Теперь очки носят!

— Плевать! — кричал снизу Тептелкин, — я человек старого мира, я буду носить пенснэ, с новой гадостью я ничего общего не имею.

— Да что ты ходишь по дождю! — кричало сверху.

— Хочу и хожу и буду ходить! — кричало снизу.

## Глава XXVII

## Костя Ротиков

Особой зловещей тихостью и особой нищенской живописностью полн Обводный канал, хотя его прорезают два проспекта и много мостов над ним, из которых один даже железнодорожный, и хотя на него выходят два вокзала, все же он нисколько не похож на одетые гранитом каналы центра, тмин и бузина и какие-то несносные листья поднимаются от самой воды и по косой линии доходят до деревянных барьеров. Железные уборные времен царизма стоят на ножках, но вместо них постепенно появляются домики с отоплением, того же назначения, но более уютные с деревцами вокруг. Попрежнему надписи в них нецензурны и оскорбительны, и как испокон веков стены мест подобного назначения покрыты подпольной политической литературой и карикатурами.

Некоторые молодые люди вынимают здесь записные книжечки из кармана и внимательно смотрят на стены и, тихо ржа, записывают в книжечки «изречения народа».

В один ясный весенний день можно было видеть молодого человека, идущего с семью фокс-терьерами вдоль стены по Обводному каналу. По палочке с кошачьим глазом, по походке, по трухлявому амуру в петлице, по тому, как лицо молодого человека сияло, каждый бы из моих героев узнал Костю Ротикова.

— Милые мои цыплята, — остановился Костя Ротиков, — вы пока побегайте, а я спишу некоторые надписи. Он сломался, похлопал Екатерину Сфорцу по собачьему плечу, пожал лапку Марии-Антуанетте, покомкал уши королеве Виктории, приказал всем вести себя скромно; скрылся в уборную.

В то время как он с карандашом стоял и списывал над-

писи, собачки бегали, резвились, нюхали углы здания, некоторые, скосив морду, жевали прошлогоднюю травку.

Костя Ротиков вышел, позвал своих собачек, спрятал записную книжечку и направился далее, к следующей уборной.

В воскресные дни он обычно совершал обход и пополнял книжечку.

Возвратившись домой, в глухую квартиру на окраине, он зажег свет, собаки прыгали вокруг него, лизали руки, подскакивали, лизали шею друг другу и ему, а Виктория, подскочив, лизнула его в губы. Он поднял Викторию и поцеловал ее в живот. Он был почти влюблен в песиков, они казались ему нежными и хрупкими созданиями, он строго охранял их девственность и ни одного кобеля не подпускал близко. Тщетно плакали весной его собачки, тщетно они катались по полу и визжали, лезли на предметы, — он был непреклонен.

Наиболее визжащую он брал на руки и ходил с ней по комнате и убаюкивал, как малого ребенка.

Сегодня вечером, после возвращения с прогулки, его фокс-терьеры визжали и бились в судорогах, разевали жалобно рты, только Виктория ходила спокойно, то-есть страшно спокойно.

Тщетно Костя Ротиков, спрятав книжку в письменный стол, предлагал им кусочки белоснежного сахара, они визжали и жалобно смотрели на него.

Тогда он стал кричать на них.

Как побитые — они успокоились.

Засыпая вместе с ними, он стал думать о своем романе.

Эта рыжая дама думает, что он влюблен в нее.

Утром он перечел то, что он называл мудростью народа. Покормил временно успокоившихся собачек и отправился на службу.

Там под люстрами фарфоровыми с букетцами, хрустальными с капельками, металлическими с пуговками и цепочками, ходил он улыбаясь, расставлял, определял и расценивал предназначенные на аукцион предметы. Там сидел он на разноспинной мебели и беседовал с другими молодыми людьми, внимательно его слушающими, нажав на мокрую губку, наклеивал этикетки на подносимые ему фигурки.

Иногда ему становилось скучно. Тогда он просил какого-либо молодого человека, благоговевшего перед его познаниями и веселостью, завести музыку.

Ах мейн либер Аугустхен, Аугустхен, Аугустхен . . .

или венский вальс, или «На сопках Манчжурии», или «О клэр де ла люн».

Костя Ротиков слушал внимательно.

В комнате направо группами помещалось пять гостиных, в комнате налево — три спальни.

В то время, как Костя Ротиков, в невозможной позе сидя в кресле, окруженный молодыми людьми, рассматривал предметы и объяснял, в зал вошел человек с желтым чемоданом, в желтых сапогах, в пятнистых носках, спец по рынкам. Затем вкатился круглый человек с гитарой под мышкой, затем вбежали две барышни и стали бегать от предмета к предмету, затем пришел заведующий в чечунчовом костюме.

В понедельник 18-го апреля Константин Петрович Ротиков поздно ночью пришел с пирушки научных сотрудников.

Блаженно улыбаясь, Костя Ротиков раздевается, ложится на диван, сильно потертый, поворачивается к стене, успокаивается. Он видит пятнадцать новооткрытых комнат, выходящих на Неву. Все они уставлены коллекциями. Это безвкусица, пожертвованная им.

В аппартаментах толпятся иностранные ученые, и пу-

тешественники, и отечественные профессора, и научные сотрудники.

Он со всеми раскланивается и объясняет.

Свистит носом Костя Ротиков со сна.

Туманные пятна, зеленые, красные, фиолетовые. Появляется банкет.

Костя Ротиков сидит, седой, в кругу своих почитателей, ему читают адреса и приносят телеграммы.

Вот поднимается хранитель Эрмитажа:

«— Уважаемые коллеги, мы приветствуем Константина Петровича суб-люце-этерна (sub luce aeterna). Открыть новую область в искусстве не так легко. Для этого надо быть гениальным — и, опираясь двумя пальцами на стол, он, помолчав, продолжает: — Константин Петрович Ротиков почти с самого нежного возраста, когда, обычно, другие дети заняты беготней или восторгаются и прыгают на перроне перед паровозом, уже чувствовал беспокойство настоящего ученого. Тщетно его звали погулять, тщетно ему приказывали прокатиться в шарабане — он изучал искусствоведческие книги. В семь лет, когда ему еще повязывали салфетку вокруг шеи, он уже знал все картины Эрмитажа и по репродукциям Лувра и Дрездена. К десяти годам он уже побывал в главнейших музеях Европы и как взрослый присутствовал на аукционах.

«— И когда все было изучено, только тогда он приступил к труду своей жизни.

«— От лица эрмитажных работников позвольте вас, Константин Петрович, приветствовать и благодарить за открытую область искусства и за пожертвованные в наше хранилище экспонаты».

Тогда подымается неизвестный поэт, уже достигший всеевропейской известности. Седые волосы падают ему на

плечи. Золотые драхмы с головами Гелиоса сверкают на его манжетах.

«— Наше поколение не было бесплодно, — раскланивается он на аплодисменты, — и в невообразимо трудную годину мы сплотились и продолжали заниматься нашим делом. Ни развлечения, ни насмешки, ни отсутствие денежных средств не заставили нас бросить наше призвание. В лице Константина Петровича я приветствую своего дорогого соратника и милого друга. Расцвет, который мы наблюдаем теперь, был бы невозможен, если бы в свое время наше поколение дрогнуло.

Все встают и аплодируют седым друзьям.

Подымается с бокалом известный общественный деятель — Тептелкин, высохший старик, с прекрасными глазами. Голова его окружена сиянием седых волос, слезы восторга текут по щекам.

— Я помню как сейчас, дорогой Константин Петрович, ясный осенний день, когда все мы собрались в башне, в старой развалившейся купеческой даче...

Тоска охватила Костю Ротикова. Он проснулся. Облокотился на подушку. Смотрит... падают хлопья снега, похожие на рождественские.

«Рано, — думает, — зима».

«Страна страшно бедна, — все же встает он. — У нее сейчас только насущные потребности, никакую умственную роскошь она себе позволить не может. Допустим, даже, что мою книгу все одобрили бы. Но кто в силах издать огромный том, рассчитанный на небольшой круг читателей?»

Сколько лет провел он в библиотеках, рассматривая порнографические книжки и репродукции, как часто посещал он недоступные для публики отделения музеев и изучал изображения в мраморе, слоновой кости, воске и

дереве... Сколько картин, гравюр, набросков, скульптур теснилось в его воображении...

Порнографический театр времен возрождения (субстрат античность), порнографический театр восемнадцатого века (субстрат народность). Но все же в этой области у него были предшественники, а на Западе были соответствующие труды, но в области изучения безвкусицы— никого. Здесь он начинатель. Это дело более трудное, более ответственное. Здесь надо начинать с азов, с примитивнейшего собирания материала.

В это синее утро, как некогда, Костя Ротиков видел весь мир с его необъятными, несмотря на все порубки, лесами, с его океанами пустынь, несмотря на железные дороги, с его взнесенными железо-бетонными городами и городами бумажными, с его кирпичными селениями и селениями деревянными. Мимо него дефилировали расы, племена, отдельные уцелевшие роды. Если легко определить безвкусицу, стоя посреди комнаты, — думает Костя Ротиков, — определить элементы безвкусицы в западно-европейском искусстве, то куда трудней определить в китайском, японском и почти невозможно в столь мало изученном, несмотря на огромный интерес к нему, проявившийся в последние годы, — в негрском искусстве. Но если обратиться к искусству, возвращенному археологией, к искусству египетскому, сумеро-аккадийскому, вавилонскому, ассирийскому, критскому и другим, то здесь вопрос становится еще более сложным и проблематичным.

В наступающем дне у Кости Ротикова опустились руки; спина согнулась, он испытывал настоящие муки. Внезапно он вспомнил, что все изменилось.

Его друг, неизвестный поэт, скрывается, переехал, нигде не показывается, быть может, уехал.

Тептелкин, по слухам, женился и обзавелся новым кругом друзей.

Он, Константин Петрович, теперь научный сотрудник, но это для души.

Константин Петрович отправился в институт, помещавшийся на набережной. Он поздоровался с привратницей Еленой Степановной, сидящей в кресле рядом с камином.

— Как ваше здоровье, Елена Степановна? — спросил он.

— Зябну, — ответила та, — зябну.

Он поднялся по лестнице, вошел в прихожую, там ему пожал руку вахтер и ласково подвел его к стенной газете.

— Продернули вас.

И действительно, на стене в кругу профессоров и научных сотрудников он увидел себя, сидящим и демонстрирующим, с ученым видом, уриналы. Он поднялся в библиотеку. Поднял голову от книги, стал рассматривать находившихся в ней.

Весь мир незаметно превращался для Кости Ротикова в безвкусицу, уже ему больше доставляли эстетических переживаний изображения Кармен на конфектной бумажке, коробке, нежели картины венецианской школы и собачки на часах, время от время высовывающие язык, чем Фаусты в литературе.

И театр для него стал ценен, значителен и интересен, когда в нем проявлялась безвкусица. Какая-нибудь женщина с обнаженными грудью в платье времен его матушки, на фоне дорических колонн, пляшущая и сыплющая цветы на танцующих амуров, уже не в шутку нравилась ему. Глухие кинематографы с изрезанными, из кусочков составленными, лентами волновали его и приводили в восторг безвкусностью своей композиции. Рецензийки, написанные заезжим провинциалом, в которых проявлялся дурной вкус, безграмотность и нахаль-

ство, заставляли его смеяться до слез, до возвышеннейшего и чистейшего восторга. Он ходил на все собрания и тщательно подмечал во всем безвкусицу. Он получал восторженные письма от молодых людей, зараженных, как и он, страстью к безвкусице. Иногда ему казалось, что он открыл философский камень, с помощью которого можно сделать жизнь интересной, полной переживаний и восторга. Действительно, весь мир стал для него до-нельзя ярким, до-нельзя привлекательным. В его знакомых для него открылась бездна любопытных черточек, для него привлекательных по-новому. В их речах он открывал тайную безвкусицу, не подозреваемую ими. И тут он стал получать письма из провинции. Провинциальная молодежь, до которой неведомо какими путями дошли слухи об его занятиях, просыпалась, уже в медвежьих углах начали собирать безвкусицу, чтоб исцелиться от скуки.

## Глава XXVIII

## Черная весна

На Карповке, в двухэтажном доме, бывшем особняке, похожем на серый ящик с дырками, увенчанный фронтоном и гербом со сбитой короной, попрежнему жил философ. В доме, кроме него, жили китайцы, приехавшие из провинции Шан-дунь, делающие бумажные веера, которыми кустари украшают ту стену, у которой стоит зеркало.

Андрей Иванович ясно чувствовал, что он освещает вопросы философии и методологии совсем не перед той аудиторией, перед которой разрешать их должно, что в общем это какая-то дикая забава. К чему методология литературы его вечному спутнику фармацевту? Зачем он читает свои трактаты вечно подвижным и практическим людям? Но все же философ стал готовиться к лекции. Некоторые положения уже давно были набросаны, надо было развить их.

Он смотрел вниз на вечерний город, на движущиеся толпы с иными движениями, с размашистой походкой, с трубками во рту.

Колокольный звон донесся со стороны.

— Здесь я сотрудничал в специальных философских журналах, которых было почти достаточно. Здесь напечатана была моя работа, в свое время известная, здесь я защищал ее на звание профессора.

Философ прошелся по большой комнате, оклеенной дорогими, но выцветшими обоями.

Он увидел гостиную в ее прежнем виде.

Услышал философские и литературно-философские разговоры.

— Вот едет он в поезде. Против него сидит Петр Константинович Ротиков. Он вспомнил первую встречу с женой в имении под Москвой, где он гостил у одного из приятелей.

Снова он чувствовал легкую прогулку среди высоких, золотых полей.

Она идет с ним рядом в длинном платье, в соломенной шляпке, под светлым зонтиком и радостно смеется.

Сложив зонтик, бросается бежать по дороге и, обернувшись, предлагает поймать ее, и он, поймав, долго держит ее за руки, она стоит, не говоря ни слова.

После этого происшествия они почувствовали, что они близки друг другу и дороги.

Философ прошелся, наткнулся на стул, расхлябанный стул с золоченной спинкой — стул из спальни жены.

За дверью кто-то царапался.

Вошла четырехлетняя босоногая малютка и стала шагать рядом с философом, напевать и хлопать в ладоши.

— Я русська, я русська.

За стеной завздыхала гитара.

Мимо дверей прошла метельщица, одноглазая, с косым ртом.

Он остановился. Ребенок остановился тоже. Он посмотрел вниз. Рядом с ним крохотная девчурка — дочь соседа китайца и метельщицы.

— Детка, уйди, — сказал он, — дяде надо побыть одному.

Но ребенок сосал палец и не уходил. Он вывел девочку и запер дверь. Сел в кожаное кресло — кресло из кабинета, развернул лежавший на столе пакетец, нарезал сыру, сделал буттерброды.

«Не пойду, — подумал он, — не пойду, на кой чорт им всем мои лекции!»

На салфетку, заткнутую за ворот, сыпались крошки, но все же через час он вышел. На набережной он столкнулся нос к носу с фармацевтом.

— А я за вами! — радостно произнес фармацевт.

Дом на Шпалерной был освещен.

Лифт действовал.

Дом был построен в модернистическом стиле. Бесконечное число пузатых балкончиков, несимметрично расположенных, лепилось то тут, то там.

Ряды окон, из которых каждое было причудливо посвоему, были освещены. Кафельные изображения женщин с распущенными волосами на золотом фоне были реставрированы.

Он нажал на металлическую ручку двери с гофрированными стеклами, на которых изнутри были освещены лилии.

По главной парадной он поднялся в первый этаж, в просторные палаты, занимаемые семьей путешествующего инженера N.

Фармацевт следовал за ним.

После лекции должно бы было начаться обсуждение.

— Позвольте вам, Андрей Иванович, передать варенье, — сказала молоденькая жена инженера.

Комик из соседнего театра с презреньем ел печенье.

— Ну что, Валечка, развлеклась? — после ухода философа спросил инженер.

Китаец, скопив деньжат или, может быть, вызванный событиями, уехал на родину.

В тот же вечер метельщица сошлась с другим китайцем.

Через два месяца она умерла от неудачного аборта.

Русська устроилась в уголке, в комнате философа, на положении кошки. Иногда он покупал ей молока.

Сам выпускал ее во двор и видел, как она бегает вокруг дерева.

Это не было актом милосердия. Он просто знал, что ей некуда деться.

Он даже ей купил как-то игрушку и смотрел, как она с игрушкой возится.

Постепенно появилось в углу нечто в роде постели, а на ребенке ситцевое платьице и туфельки.

В эту весну Екатерина Ивановна сильно грустила. Когда Заэвфратский был жив, ей ребенок ненужен был. Она сама себя чувствовала девочкой рядом с этим большим, путешествующим человеком.

Все чаще ночью охватывал ее ужас нищеты и улицы. Иногда, ночью, она вставала, подходила в одной рубашке к окну и, широко, как окна, растворив глаза, смотрела вниз. Напротив шумел и блестел ночной клуб, безобразные сцены разыгрывались у входа.

— Был Миша Котиков, — иногда вечером вспоминала Екатерина Ивановна, — но и он исчез, а с ним можно было поговорить об Александре Петровиче. — Она доставала портрет Александра Петровича.

— Миша Котиков просил меня подарить ему какую-нибудь рукопись, — вспомнила она. — Но у меня нет ничего, все друзья Александра Петровича взяли. Вот разве альбом с пейзажами.

Днем во дворе заиграл шарманщик, с дрожавшим и нахохлившимся зеленым попугаем, попрежнему вынимавшим счастье. Со двора нечувствительно повеяло возвращением с дачи или из-за границы; черная весна похожа на осень.

— Хорошо было бы пойти в балет, — встала она в классическую позу.

Закружилась.

— Хотя, ведь балет устарел.

— Михаил Петрович давно говорил, что он устарел.

Она остановилась, села на постель и заплакала.

— Все, что я люблю, давно устарело...

— Никто меня не понимает...

— Да понимал ли меня Александр Петрович, такой умный, такой умный!

— Может быть, он всегда меня несколько презирал?

— Ведь мужчины на меня всегда свысока смотрят...

Мокрое от слез лицо она подняла и, как вполне взрослый человек, устремила в пространство.

В дверь постучали и передали письмо.

«Дорогая Екатерина Ивановна, мне удалось для вас выхлопотать пенсию. Извините, что раньше я ничего не писал вам. Это было очень трудно и до последнего момента...»

Письмо было от дореволюционного друга Александра Петровича из Москвы.

Это было так неожиданно, что Екатерина Ивановна вдруг почувствовала, что она постарела.

Она подошла к зеркалу.

Морщинки бежали вокруг глаз и вокруг рта. Волосы были редкие. Ей захотелось быть снова молоденькой.

Она надела шляпу и светлую жакетку, еще раз посмотрела в зеркало и подкрасила губки, бледные и слабые.

Пошла в особняк Заэвфратского.

Екатерина Ивановна поднялась по мраморной лестнице, уставленной всевозможными восточными уродинами, еще не убранными.

Сейчас здесь был Домпросвет.

Был час занятий, и девушки в красных платочках бегали по лестнице туда и сюда и звали других девушек и юношей на собрание. Молодые люди в пальто ходили по всем комнатам. Садились на скамейки слушать лекции.

Гостиная, где некогда беседовал Заэвфратский, была превращена в зал для собраний и украшена плакатами.

Открыв дверь в спальню Заэвфратского, Екатерина Ивановна увидела Тептелкина. Склонившись над кафедрой, он старательно читал краткую историю всемирной литературы.

Она села на заднюю скамью и стала рассматривать его.

«Как он обрюзг», — подумала она.

Воробей залетел в открытую форточку, посидел на раме и принялся летать по комнате. Ученики и ученицы поднялись со скамеек и принялись выгонять воробья. Тептелкин стоял у кафедры и ждал. Грузноватой походкой Екатерина Ивановна подошла к нему.

— Екатерина Ивановна?! — удивился Тептелкин. — Вот встреча-то!

— Я не знала, что вы здесь читаете, — стала строить глазки Екатерина Ивановна.

— В этом ничего удивительного нет...

Но вдруг молодость захлестнула Тептелкина, и он почувствовал, что снова вступает в ночь на высокую башню, а затем, — он, Тептелкин, заурядный преподаватель, лектор при различных клубах.

Воробей был изгнан, и лекция возобновилась.

Екатерина Ивановна, одна, возвращалась из Домпросвета. Ветер рвал ее юбочку. Посидев в скверике под весенними снежными хлопьями, она вернулась домой.

«Милый Михаил Петрович», — писала она Мише Котикову, — «дорогой друг мой, не согласитесь ли вы зайти ко мне, поговорить. Я для вас нашла альбом Александра Петровича. Мы поговорим об его стихах. Надеюсь, что вы не откажете зайти».

## Глава XXIX

## Агафонов

Бывший неизвестный поэт ходил по комнате. Дом двухэтажный, широкий, построенный в 20-х годах прошлого столетия французским эмигрантом, до войны предназначался на слом. Теперь в нем отдыхал, сидя во дворе, почтальон с курносым семейством; шитьем существовало разноносое, разноволосое семейство бывшего камергера, обслуживаемое натурщиком; смеялась и скакала по лестницам женщина, гуляющая с матросами по кинематографам и по набережным, и беседовал старичок — бывший владелец винного магазина Бауэр, теперь служащий в винном магазине Конкордия, у которого по средам и по воскресеньям собирались винтящие старички, бухгалтера и бывшие графы.

Неизвестный поэт снимал светлую продолговатую комнату у этого винтящего старичка. У этого кооперативного служащего была супруга с подрумяненными щечками и старшая сестра, 80-летняя дистенге. Старичок некогда был испанским консулом.

Уютна была некогда квартира, принадлежавшая испанскому консулу Генриху Марии Бауэру. В гостиной, освещенной газом, в столовой тяжелой и дубовой, украшенной птицами из папье-машэ, на тарелочках, литографиями в рамах черного дерева, с чучелами птиц по стенам, с круглым дубовым столом на круглой ноге и с 8-ью вспомогательными ножками, было приятно бывать. Испанский консул чувствовал себя лицом официальным, в гостиной стояла мебель красного дерева, в кабинете были диваны и портреты монархов: германского императора, российского самодержца, испанского короля. И гальванопластические изображения Лютера и апостолов. На бархатном столике лежал огромный фольянт на немецком языке — Фауст Гете, с

иллюстрациями в красках. На кухне, необыкновенной чистоты стояли Гретхены, Иоганхены, Амальхены, пузатенькие со всевозможными ручками, со всевозможными горлышками. Испанский консул не говорил по-испански. По вечерам он отправлялся в немецкий клуб, Шустер-Клуб. Там, в особой комнате, так называемой немецкой, пил он пиво из кружки и все другие пили пиво из кружек, по стенам не было никаких украшений, только висел огромный, в тяжелой золотой раме — портрет Вильгельма II во весь рост.

Третий год жил бывший неизвестный поэт в семье винтящего старичка, наблюдал по средам и воскресеньям за игрою.

Венгерский граф играл с достоинством, иногда он мягким движением расправлял свои бакенбарды. Какая-то неуловимая мягкость была в его движениях. На нем великолепно сидел жакет, шитый в первый год революции. Граф великолепно говорил по-французски. Рядом с ним сидела его супруга, похожая на маркизу в белоснежном высоком парике, вся в черном, и говорила тоже по-французски. Дальше сидел бывший пограничник с лихими усами, с явными армейскими движениями, затем бухгалтер со сказочными доходами. Никогда здесь не говорили о современности. Разговор всегда шел или о дворе, или о гвардии и армии, или о придворных торжествах в Петергофе при приезде французского президента, или об ухищрениях контрабандистов.

Лысеющий молодой человек пил чай со старичками. Разговор все время возвращался к концу XIX века и к началу XX. Старичок, сюсюкая, рассказав анекдот, начал засыпать, убаюканный воспоминаниями, и даже похрапывать. Восьмидесятилетняя дистенге посмотрела на часы.

Все вставали из-за стола.

Наступала тишина.

Вычищенные гущей и песком на кухне блестели Иоганхены, Вильгельмхены, Гретхены — кухонная посуда на полках.

Утром бывший неизвестный поэт, высунувшись из окна, позвал татарина, ходившего по двору с поднятым лицом и кричавшего.

— Вот что, друг, — сказал он, когда татарин с пустым мешком под мышкой появился в комнате, — у меня накопилось много дряни, хочешь вазочку, пепельницу, книги, вот горсточка старинных монет. Татарин хмуро ходил по запущенной комнате, где стояла вечно неприбранная постель, где книги валялись на полу, где денежки Василия Темного лежали на тарелочке вместе с раскатавшимся куском мыла, а стекла были до того мутны, что еле-еле пропускали пыльный луч.

Татарин опытной рукой, подойдя к постели, нащупал одеяло, подошел к столику, постучал, посмотрел, не проели ли столик черви.

— Не годится, — сказал он. — Пальто есть? Брюки есть? Пальто, брюки куплю.

— Да что ты, я тебе уже все давно продал! — рассердился бывший неизвестный поэт.

— Зачем неправда говорит, в шкапу что? — татарин, подойдя, распахнул дверцы.

— К чему тебе? потом новые купишь! Он стал рассматривать брюки.

— Да вот ковер в углу, — согласился хозяин комнаты.

— Кровать продаешь? — спросил татарин.

Походив вечером по комнате, бывший поэт отправился в достопримечательнейшее здание.

Он поднялся по лестнице. Согнувшись, уплатил мзду.

— Ах, Агафонов, — протянул ему руку Асфоделиев: — где вы пропадаете?

— Я занят.

— Чем же вы заняты? — удивился Асфоделиев.

— Не будем об этом говорить, — уклонился лысеющий молодой человек, — я пришел сюда поразвлечься, а не говорить о занятиях.

Асфоделиев посмотрел на него: «Нервничает», — подумал он.

— Прекрасна жизнь, — начал философствовать Асфоделиев. — Надо брать от жизни все то, что она дает. Посмотрите на эти прекрасные пальмы, — и плавным движением Асфоделиев указал на чахлые растения: — слышите, музыка!

Он подошел с Агафоновым к стеклянным дверям. Оттуда неслась шансонетка.

— Взгляните на лица, дышащие азартом, посмотрите, как горят у них глаза, как скребут игроки ногтями сукно.

Но всего этого бывший поэт не видел. Он видел, что крупье опускают с каждого круга десять процентов в разрез стола на нужды народного просвещения, а всякую подачку прячут в жилетный карман, говоря: мерси. Что все они лысы, упитаны, одеты по последней моде, что растратчики и взяточники толпятся у столов и проигрывают деньги на нужды народного просвещения, что они, присвоив деньги в одном ведомстве, добровольно отдают их другому.

— Вы романтик, — обернулся бывший неизвестный поэт к Асфоделиеву, — вы скверный, большой ребенок, неужели вы не чувствуете огромной серости мира. Я прихожу сюда, потому что мне нечего делать, потому что после того, как я не сошел с ума, я чувствую себя кукишем.

— А вы пытались сойти с ума? Какой вы романтик! — уязвил бывшего поэта Асфоделиев.

— Конечно, я не пытался, — пошел на попятную, — я это к слову сказал. Что вы, в самом деле считаете меня дураком?

— Бросьте, — сказал Асфоделиев. — Никто так не уважает вас, как я, и никто не любит так ваших писаний. Человеку нужна мечта, вы даете мечту — чего же боле?

— Никакой никогда мечты я не давал, — отвечал Агафонов.

Уже несколько часов сидели прибывшие в ресторане при клубе. Уже было выпито около дюжины пива и отдельные рюмочки скверного коньяку, и уже приступили к красному вину. И на эстраде появился хор цыганок и запел свои старые песни, и ходил цыган с гитарой и топая аккомпанировал, и отделились от толпы две цыганки в своих пестрых платьях, обутые в красные туфельки, и началось трепетание.

— Ерунда, какая ерунда, — пробормотал Агафонов и прошел в игорный зал, сел на освободившееся место.

Две цирцеи встали позади него.

Чувствуя, что на его плечи облокачиваются, Агафонов повернул голову.

— Не мешайте, — оттолкнул он, — прошу вас!

Те, вздернув носики, отошли.

Агафонову стало неприятно: раньше я совсем иначе относился к ним.

К вставшему крупье подлетели два игрока и стали извиняться и упрашивать дать в долг. Тот отходил, отказывая, они следовали за ним по пятам. Асфоделиев и Агафонов уходили. За ними шли две цирцеи, затем цирцеи отстали.

— Прелестно, — говорил Асфоделиев, — прелестно...

— Вот что, — прервал Агафонов Асфоделиева, — не смогу ли я у вас переночевать?

В кабинете у Асфоделиева горела фарфоровая люстра.

Огромный, александровского времени, письменный стол, с канделябрами в виде сфинксов, стоял против дверей. На нем до середины высоты комнаты пирамидами возвышались недавно вышедшие книги, книжки и книжечки, все

аккуратно разрезанные и снабженные бумажными закладками. На шкафах красного дерева, недавно доставленных, стоял Гете на немецком языке и Пушкин в Брокгаузовском издании. На столах лежали иллюстрированные «Евгений Онегин» и «Горе от ума» в издании Голике и Вильборг.

— Извините, — сказал Асфоделиев, — моя жена спит.

Поставил бутылку водки и огурцы.

До глубокой ночи Агафонов произносил свои стихи.

— Как это глупо, — прервал он себя, — ничего я не слышал.

В три часа ночи он встал:

— Какое идиотство считать вино средством познания.

Он увидел себя блуждающим:

— Что я для города и что он для меня?

— Утро! — подошел он к окну. Сел на диван и раскрыл рот.

Лучи чуть теплого солнца осветили заметную лысину. Агафонов лежал на диване. Одна нога в фиолетовом носке высовывалась из-под одеяла.

Лучи спустились и осветили плечи, затем чуть-чуть вспыхнула рюмка у пустой бутылки.

Агафонов проснулся — его трогали за плечо.

— Извините, милый мой, — сказал Асфоделиев. — Мне привезли шкаф маркетри.

За Асфоделиевым стоял шкаф; два носильщика курили махорку.

Вечером Агафонов, ища ночлега, пошел в мало знакомое ему семейство.

После чая молодые люди и барышни сели в уголок и стали рассказывать друг другу анекдоты. Девушка с волосами, обесцвеченными перекисью водорода, первая начала.

— Один глупый молодой человек любил ездить верхом. Мы жили тогда на даче, на Лахте. Он жил в городе и ездил

в манеже и по островам. Однажды, войдя на веранду, где мы пили чай, он вместо того, чтобы поздороваться, сияя проговорил: «все кобылы, на которых я езжу, забеременели». Мы прыснули от восторга и побежали поговорить об его глупости, но наш отец нашелся: «а что, — сказал он, — как ты думаешь, жеребята будут похожи на тебя?»

— Однажды в бане произошел следующий случай, — трогая ногу соседки, стал рассказывать журналист. — Один моющийся облил моего соседа ушатом холодной воды; тот подлетел к нему с поднятыми кулаками: «извиняюсь, — сказал обливший, — я думал, что вы Рабинович». Облитый стал ругаться. «Экий, — пожал плечами обливший, — защитник Рабиновича нашелся».

— Во время империалистической войны, — зажигая взятую у журналиста папироску, возвысил голос Ковалев, — одному корнету, состоявшему при особых поручениях, захотелось покурить. Офицеры стояли на свежем воздухе, в присутствии только-что приехавшего командующего армией. Корнет отошел в сторону и закурил, пряча папиросу в рукав пальто. «Корнет, кто разрешил вам курить! Чорт знает что! Дисциплина падает!» — закричал командующий армией. «Виноват, ваше высокопревосходительство, — прикладывая руку к козырьку, пролепетал корнет, не зная, что ответить, — «я думал, что на свежем воздухе» . . . «Вы забываетесь, корнет, — заорал генерал, — там, где я, нет свежего воздуха!». — Окончив анекдот, Ковалев, довольный своим остроумием, улыбнулся.

По середине комнаты играли в кошки-мышки. Барышни, дамы и мужчины носились.

Идя оттуда, Агафонов столкнулся с Костей Ротиковым. Они до того растрогались встречей, что стали провожать друг друга. Они не замечали ни ночного холода, ни того, что улицы пустели. Уже третий раз довел Костя Ротиков Агафонова до ворот его дома, уже третий раз

Агафонов довел Костю Ротикова до ворот дома Кости Ротикова, и тут Агафонов оказался в комнате Кости Ротикова.

Они сели на огромный диван; но тетушка не принесла им чая на подносе, ситного, нарезанного ломтиками; во втором часу ночи, приоткрыв дверь, не заглянул в комнату отец Константина Петровича, маленький старичок, и не посоветовал лечь спать, напоминая, что завтра Константину Петровичу надо будет преподавать английский язык старушкам, и Костя Ротиков и неизвестный поэт не улыбнулись радостно в ответ и не продолжали наслаждаться метафизическим поэтом.

Но, взволнованные неожиданной встречей, они разговорились. Снова луна им казалась не луной, а дирижаблем, а комната не комнатой, а гондолой, в которой они неслись над бесконечным пространством всемирной литературы и над всеми областями искусства. Уже Константин Петрович в забывчивости протянул руку к полке, чтобы достать поэму о сифилисе Фракасторе, чтобы сравнить ее с поэмой о сифилисе Бартелеми, рекламной поэмой середины XIX века, в которой говорилось о Наполеоне, что собственно не он виноват, что теперь французы маленького роста, а усвоенный и переработанный нацией сифилис. Но его рука повисла в воздухе, потому что в окне появилась палка приехавшего в Россию ирландского поэта и плечо немецкого студента Миллера, а затем к стеклу прильнули физиономии — одна, снабженная поэтической английской бородой, другая — бритая, улыбающаяся, в поднятом воротнике, истинное личико. Затем, поднявшись на плечи друзей, в комнату заглянуло лицо.

Через несколько минут из-под ворот вышла на улицу процессия.

Впереди шло существо с прелестным лицом. Оно одето было в тулупчик, до бедер — замшевый, от бедер — ме-

ховой, на ножках существа сияли удивительно маленькие лаковые туфельки, а на головке шапочка.

За существом шел ирландский поэт в кожухе до земли.

За ним — Агафонов в осеннем пальто.

За ним — немецкий студент в летнем пальто.

Процессию замыкал Костя Ротиков в шубе на енотовом меху. На перекрестке, окружив существо в тулупчике, вышедшие стали совещаться о способах передвижения:

— Да ист ганц эйнфах, — заметил немец, — мы поедем на автомобиле.

Он быстро побежал на перекресток и стал торговаться.

Они понеслись в бар.

— Я вас очень люблю, — сказал ирландский поэт. — Все здесь странно, я останусь, здесь можно жить поэту. Здесь—мировые вопросы. Здесь ходишь в чем тебе угодно— и никто не обращает внимания. А у нас в газетах: у вас все разрушено, голод, трава на улицах. За поэзию! — чокнулся он с Агафоновым.

— У вас Толстой, Горький, — подтвердил немец. Собственно, разговор уже велся не на одном языке, а на всех языках одновременно: вдруг вспыхивало греческое καὶ, то вместо гимназии ἡ παλαίστρα , то почему-то раздавалось — urbs, то αςτυ , то лились итальянские звуки, то произносились в нос французские. У дверей бара седая сухая нищенка пела.

Теперь, сидя за столиком перед бутылками, мучился пьяный Агафонов. Ему казалось, что вся поэзия его, пользовавшаяся таким успехом среди друзей, ничто иное, как плод ядовитых грез, порождение яда. Он вспоминал тот день; когда впервые он приступил к опыту, т. е. в точности он дня не мог вспомнить, но ему казалось, что это было в солнечный осенний день, после летних кани-

кул, что его друг Андрей и он стояли на лестнице гимназии, освещенные солнцем у огромного окна недалеко от учительской, что внизу проходили преподаватели в форменных сюртуках с блестящими пуговицами, что в коридорах стояли надзиратели, Спицын и барон, что в учительской беседовали классные наставники и преподаватели, что над ними на лестнице стоял директор, а совсем внизу в прихожей, между многочисленных вешалок, сидел швейцар Андрей Николаевич.

Тщетно напивался Агафонов. И в опьяненьи он чувствовал свое ничтожество, никакая великая идея не осеняла его, никакие бледные розовые лепестки не складывались в венок, никакой пьедестал не появлялся под его ногами. Уже не чисто он подходил к вину, не с самоуважением, не с сознанием того, что он делает великое дело, не с предчувствием того, что он раскроет нечто такое прекрасное, что поразится мир, и вино теперь раскрывало ему собственное его творческое бессилие, собственную его душевную мерзость и духовное запустение, и в нем было дико и страшно, и вокруг него было дико и страшно, и хотя он ненавидел вино, его тянуло к вину.

Пешком возвращался Агафонов. Он выбирал самые узкие темные улицы, самые бедные. Он хотел снова почувствовать себя в 1917, 1920 годах. Он снова готов был прибегнуть к какому угодно ядовитому веществу, чтоб перед ним появилось видение. В нем нарастала жажда опьянения. Он не выдержал, сел на трамвай и доехал до Пушкинской улицы. Но она изменилась за эти годы. Стаи бродяг уже не бродили по мостовой. Условный свист не раздался при его появлении. Не было Лиды, стоящей в подворотне, курящей папироску. Он вспомнил: здесь она взяла у него палку и кольцо поносить и через два часа принесла их. Здесь она ругала своих подруг, а он упрашивал ее не ругаться, потому что ругаются только ло-

мовые извозчики. В этом зеленом доме он стоял у окна, а она сидела на скверной постели и бессмысленно качала головой. Вскочила и хотела выброситься из окна. Там, на перекрестке, в последний раз он встретился с ней, ее уводили в концентрационный лагерь, а он стоял, как парализованный. Он знает здесь каждую подворотню, но теперь нет ни одного знакомого лица.

Поздно ночью фиалковые глаза блеснули из пролета.

— Лида, — вскричал Агафонов, просияв, и побежал.

К нему повернулось совсем юное лицо.

— Лида, — вскричал он в отчаянии: — мы еще страшно молоды! И бежал за ней, спотыкаясь.

И вдруг остановилась одна фигура, раздался звук пощечины, повторенной эхо запертых ворот, а затем послышались быстрые шаги, тоже повторенные эхо, на месте остался стоять человек с палкой, украшенной аметистом. И на небе были звезды голубые, желтые, красные, но дома не стремились вверх и не падали, и не падал хлопьями снег, и не остались лежать карты, забытые на подъезде.

## Глава XXX

## Миша Котиков

Миша Котиков поднял кресло с пациентом. Электрическая машина задудела, и на резиновой трубочке игла с зубчатым утолщением завращалась; электрический свет освещал потолок и мягко падал вниз; лицо пациента было пронзительно освещено подвижной лампочкой. Через полчаса корень был вычищен и можно было надеть коронку.

Миша Котиков достал флакончик, зачерпнул немного жидкости стальным инструментиком, насыпал из двух флакончиков две кучки на толстое матовое стекло.

Он приготовлял пасту, и тут появились рифмы.

Но быстро сохнущая паста не позволяла ему на них сосредоточиться и требовала к себе внимания.

Михаил Петрович заполнил зуб пациента предохраняющим веществом, наполнил золотую коронку пастой и ловким движением надел ее на еле видные стенки зуба.

Стал держать двумя пальцами и смотреть в окно.

Теперь он на некоторое время свободен.

Котиков долго искал темы. «Нет для этого внешнего толчка», — вздохнул он. — «Сейчас», сказал он и вынул руку. Заглянул в рот. Коронка сверкала, как плоскогорье из чистого золота.

Обрадовался Миша Котиков и опустил кресло с пациентом.

Миша Котиков в восторге подошел к окну.

— Вот что мне надо было: золотое плоскогорье, один момент есть для стихотворения.

— Следующий, — приоткрыл он дверь.

Вошла домашняя хозяйка и стала охать.

— Какой зуб у вас болит?

— Передний, сынок, — раздалось из глубины кресла.

— Запущен, — внезапно пробасил Миша Котиков. — Придется удалить. Что ж вы раньше не пришли?

— Денег не было, только вчера племянник из Китая возвратился.

— Из Китая? — удивился Миша Котиков.

Миша Котиков мыл руки. Только-что ушел, не закрывая рта, молодой человек с серебряной пломбой. Миша Котиков достал афишу из кармана:

— «Сегодня в 8 часов в Академии Наук состоится лекция профессора Шмидта: «На островах Лиу-Киу».

— Чорт знает, какое поразительное сочетание, — удивился Миша Котиков. — Вот то, что я ищу. В роде пения соловья и мяуканья кошки. Вот бы в стихотворение вставить.

Он перетер инструменты, положил их в стеклянный шкафик на стеклянную полочку и отправился домой переодеться.

Он надел единственные шелковые розовые кальсоны и носки в полоску, постукал себя по молодой груди, подошел к зеркалу.

— Я джентльмен, — осмотрел он себя, — меня зовут, меня хотят, я должен итти.

Он перечел письмо Екатерины Ивановны.

— Ну да, я знаю женщин, — снисходительно улыбнулся он.

По пути разразился весенний ливень. Михаил Петрович принужден был скрыться в первый попавшийся подъезд. Там он встретился с Троицыным.

Троицын, сияя, перечитывал измокшую записку.

Миша Котиков похлопал его по плечу.

— Меня преследуют женщины, — обратился Троицын к Мише Котикову, — просто я нарасхват.

— Должно быть последствие войны, — объяснил Миша Котиков. — Мы, мужчины, теперь нарасхват.

Они, взяв друг друга под руку, прислонились к стене.

— Да, нас, мужчин, теперь мало, — растрогался Троицын. — А жаль, сколько прекрасных убито!

— А знаете, Александр Петрович считал женщин низшими существами, — высунулась на улицу голова Троицына.

— Как мне не знать этого! — выскочил на улицу Миша Котиков. — Слава богу, я жизнь Александра Петровича подробно изучил.

Подставил руку под дождь.

Голова Троицына высунулась на улицу.

И вдруг, без перехода, молодые люди стали хвалить стихи друг друга. Причем Троицын хвалил неумеренно, Миша Котиков — умеренно.

— В ваших стихах дышит Африка, — говорил Троицын.

— Ну и ваши стихи прелестны, — отвечал снисходительно Котиков. — Они красивы, — как бы размышляя, продолжал он.

Дождь, хотя и мелкий, шел. Миша Котиков снова вошел в парадную. Но, несмотря на то, что голова Троицына и фигура Миши Котикова пробыли под дождем недолго, их заметил стоящий в соседнем подъезде член коллегии правозаступников, выучивший некогда Петискуса наизусть и до сих пор писавший мифологические стихи. Он поправил воротничок и галстух, взял палку под мышку и перебежал в парадную, где укрывались настоящие поэты. Подобострастно он подошел к ним.

— Ах, — сказал он, — как мы давно не встречались! Я занят совершенно никчемными делами. Сегодня я защищал своего управдома. Почитаемте стихи, пока идет дождь.

Все трое стали, поочередно, читать стихи.

Троицын подвывал восторженно.

Михаил Петрович читал голосом Александра Петровича.

Правозаступник — с ораторскими жестами.

Дождь перестал. Проглянуло солнце. Поэты отправились в ближайшую пивную. Там завязалась жаркая беседа.

— Вы ведь читали, если не ошибаюсь, свои старые стихи? — заметил член коллегии правозаступников Троицыну.

— Я моих новых стихов никому не читаю, — обиделся Троицын. — Не поймет моих новых стихов современность. Я теперь сам для себя пишу стихи. Одни стихи для себя и для потомков, настоящие, романтические стихи, другие — для современников.

— Я вижу, — гордо заметил Миша Котиков, — что только я пишу новые стихи и читаю их всем, кому угодно.

Он с удовлетворением посмотрел на лысеющие головы своих приятелей. Затем он сказал, что спешит, извинился, уплатил за пиво и вышел.

Троицын взял правозаступника под руку, они сели в трамвай, решив продолжать свою беседу в более романтической обстановке.

На островах уже цвели подснежники и мать-мачеха.

— Да, — говорил Троицын, идя по дорожке, вдоль моря. — В ваших стихах есть неровность, свойственная молодости.

— Позвольте, — перебил юрист, — я совсем не молодой, мы с вами вместе начали литературную карьеру.

— Я не в том смысле, — поправился Троицын. — Я хотел сказать, что у вас малая техника.

— И с этим я не согласен, — возразил юрист.

Но тут Троицын увидел барышень, сидящих на зеленой скамейке. Барышни подталкивали друг друга плечами и пересмеивались.

— Славные девочки, — остановился юрист.

— Я сам думаю о том же, — склонился Троицын.

Они подсели с разных сторон. Юрист снял черную перчатку и обмахнул сапог.

Троицын спросил:

— А как вы относитесь к театру Мейерхольда?

Все ближе и ближе подвигались лысеющие молодые люди к барышням. Девушки заливались смехом.

Троицын, как бы случайно, поцеловал плечо своей соседки.

Юрист, как бы невзначай, подставил свой сапог под туфельки барышни.

Уже, болтая ногами и приготовляя анекдот, шел правозаступник, уже изогнувшись шел Троицын, уходили попарно по траве молодые люди. На стрелке появился Тептелкин с Марьей Петровной, они шли медленно и важно.

Тептелкин сел на скамейку. Марья Петровна подошла к морю, стала петь арию из оперы «Руслан и Людмила».

Тептелкин сидел в задумчивости и считал воробьев.

— Марья Петровна, — обратился он к ней, когда она кончила петь, — где у нас бутерброды?

## Глава XXXI

## Материалы

Уже давно Миша Котиков подумывал о том, чтобы отправить собранные им материалы в Тихое Убежище, но сегодня, вернувшись от Екатерины Ивановны, решил окончательно.

До глубокой ночи он в хронологическом порядке складывал карточки и перевязывал их бечевками. На обратных сторонах карточек были пейзажи с избами и гармонистами и девушками, и части географических карт. Лицевые стороны карточек были разлинованы и заполнены почерком Заэвфратского, усвоенным Михаилом Петровичем.

Когда все было перевязано, остались дублеты, Михаил Петрович придвинул лампу и на фоне пакетов перечел:

1908 г. мая 15-го. Среда. В 3 часа дня. Александр Петрович обедал в Европейской гостинице. В 5 часов дня из Европейской гостиницы Александр Петрович отправился в Гостиный двор с Евгенией Семеновной Слепцовой (балерина). Купил ей лайковые перчатки, кольцо с сапфиром.

Сейчас (1925 г. 5 января 6 ч. дня) Слепцова хорошо сохранившаяся брюнетка. Груди у нее небольшие, плечи шире бедер, ноги, как у всех балетных, мускулистые. По собранным сведениям, в свое время, она была удивительна. Из ее слов я мог заключить, что А. П. отличался необыкновенной мужской силой. Из ее слов я также мог заключить, что из Гостиного двора А. П. поехал к ней.

1912 г. Апрель 12, пятница. С 8-ми до 10-ти часов вечера А. П. читал лекцию в своем Особняке. Точно установить тему лекции не удалось, не то о Леконте-де-Лиле, не то об аббате де-Лиле. После лекции лакей подошел к А. П.

Гюнтер и доложил, что А. П. просит ее пожаловать в кабинет, по поводу ее стихов об Индии.

Удалось установить, что небольшой столик красного дерева был сервирован, что пили шампанское, что А. П. рассказывал, как он путешествовал по Индии.

P. S. Гюнтер маленькая блондиночка. Сейчас (1926 г. февраль 15) преждевременно состарившаяся. Теперь она не пишет стихов. Вспоминает об А. П. с благодарностью, как о первом наставнике. Говорит, что это был самый интересный мужчина.

1917 г. Зима. Вечером, перед отъездом (куда — неизвестно), час неизвестен. Связь с маникюршей Александрой Леонтьевной Птичкиной. Птичкина говорит, что она никаких подробностей не помнит. Глупая, необразованная натура. Говорит, что А. П. был как все мужчины.

Но тут Михаил Петрович посмотрел на часы:

— Какое весеннее утро. Подумать только, что я вызываю из небытия жизнь Александра Петровича.

Утром, перед уходом в лечебницу, еще не совсем одетый, Михаил Петрович сел. Стал творить почерком Заэвфратского стихи об Индии. В них была и безукоризненная парнасская рифма, и экзотические слова (Лиу-Киу), и многоблещущие географические названия и джунгли, и золотое, отражающее солнце плоскогорие, и весеннее празднество в Бенаресе, и леопарды и тамплиеры Азии, и голод, и чума.

Стихи были металлические.

Голос был металлический.

Ни одного ассонанса, никакой метафизики, никакой символики.

Все в них было, только Михаила Петровича в них не было.

Еслиб их, в свое время, написал Александр Петрович, то одни бы нашли, что это стихи замечательные, что в них

проявляется стремление культурного человека в экзотические страны, от повседневной серости, от фабрик, заводов, библиотек, в загадочную, разнообразную жизнь, другие, что в Александре Петровиче жил дух открывателей, что в старые времена он был бы великим путешественником, и кто знает, может быть, вторым Колумбом. А третьи бы говорили, что в стихах проявилась наконец совершенно ясно полная чуждость Александра Петровича традициям русской литературы и что, собственно, это не русские стихи, а французские, что они находятся по ту сторону русской поэзии.

Окончив стихотворение, устремил глаза Миша Котиков на портрет Заэвфратского.

Заэвфратский был изображен на фоне гор между кактусов.

— Крепкий старик, — подумал он.

Михаил Петрович вспомнил, что пора итти, что его ждут, что должно быть скопилось много больных, что опять придется запускать пальцы в раскрытые рты и ощупывать десны.

Михаил Петрович взял палку, за ним щелкнул американский замок.

По лестнице поднималась девушка, остановилась на площадке, прочла на металлической дощечке «Зубной врач Михаил Петрович Котиков. Прием с 3 — 6 ч.». Позвонила.

Весенний вечер. Ни малейшего ветерка. Дым из труб поднимается к небесным красноватым барашкам и незаметно растворяется.

Внизу выходит Михаил Петрович из частной лечебницы и, остановившись, любуется на небо.

Ему хочется погулять.

Затем он вспоминает, что сегодня условился встретиться с Екатериной Ивановной. Он садится в трамвай; на театральной площади он выходит и направляется к новой Голландии.

Дойдя до крайнего пункта набережной, он садится на скамью, смотрит на уголок моря.

Там виднеется здание горного института.

Сегодня он выбрал это место для встречи.

Часто молодой зубной врач мечтал здесь о далеких морях, о безграничных океанах. В течение шести лет ему являлся корабль, огромный, европейский корабль. На нем он и видел себя отъезжающим.

Но теперь, когда материалы собраны и отправлены, когда он чувствует себя заурядным врачом, он понимает, что он никуда не уедет, что он никогда не пойдет по пути Александра Петровича, что только в зоологическом саду его ждет экзотика: облезлый лев, прохаживающийся за решоткой.

Или цирк, где беззубые звери делают то, что они никогда не делают на родине.

Мечта о путешествиях догорела и погасла.

Вчера он получил бронзовую настольную медаль от Тихого Убежища. Вот и все воздаяние за шестилетние труды. А стихи его разве печатают? Все только смеются. Правда, он член Союза Поэтов, но какие же там поэты! Как только начнешь читать стихи, говорят — это не вы, а Александр Петрович.

Но он женится на Екатерине Ивановне. Правда, она глупа, но ведь Александр Петрович на ней женился в свое время, значит и он, Михаил Петрович, должен на ней жениться.

Уже несколько минут стояла Екатерина Ивановна и смотрела на юный затылок Миши Котикова. Шляпу он держал на коленях, затем подскочила, закрыла ему глаза руками и села рядом.

— О чем вы мечтаете здесь, Михаил Петрович? — спросила она, отнимая руки. — Я получила письмо. Я согласна.

Миша Котиков смотрел на море.

— Я вас давно люблю, — продолжала Екатерина Ива-

новна, — но вы только за последние два месяца стали опять появляться.

— Дорогая Екатерина Ивановна, — как бы пробуждаясь, встал Миша Котиков.

— Согласны? — грассируя спросил он. — Теперь начнутся мои обывательские дни! — вздохнул он. — Но вы свяжете меня с моим прошлым, с романтическим периодом моей жизни.

Екатерина Ивановна сидела рядом с Мишей Котиковым и теребила сумочку. В сумочке был батистовый платок, зеркальце и пудра в маленькой папочной коробочке и карманный карандаш для губ. Она достала зеркальце, поднесла карандаш к неаккуратно окрашенным губам.

— Ей за тридцать лет, — повернулся Миша Котиков. — Я считал вас глупой, — сказал он, улыбаясь. — Но за последние годы я столько знал женщин.

— Во мне есть детскость, — засмеялось личико Екатерины Ивановны. — А детскость мужчин привлекает. Я совсем не глупая, я рада, что вы это поняли.

Миша Котиков, склонившись, поцеловал ее в лоб.

— Так, значит, — спросил Миша Котиков, — решено?

— Решено, — ответила Екатерина Ивановна.

Через час в другой части города они поднимались по мраморной лестнице Тихого Убежища.

— Здесь, — повернулся Миша Котиков, — хранятся собранные мной материалы о жизни Александра Петровича, мои записи и дневники.

Тоненький старичок сверху, увидев поднимавшихся по лестнице, стал спускаться.

— Ах, какое вы нам всем доставили удовольствие! — поздоровавшись с Екатериной Ивановной, затряс он руку Михаилу Петровичу. — Ваши материалы о жизни Александра Петровича удивительны, но в них есть какая-то

странность, но это ничего, — это молодость. Как жаль, что во времена нашего солнца не существовал молодой человек, подобный вам. Как бы это было интересно, день за днем, час за часом, проследить жизнь гения.

Старичок восторженно посмотрел на портрет.

Старичка позвали. Он исчез в покоях.

Заседание еще не началось. И Михаил Петрович с Екатериной Ивановной остановились в комнате, где хранилась библиотека великого писателя.

На площади перед домом было тихо. Направо пахло молодыми почками, налево — догнивали гипсовые императорские бюсты, свезенные из окружающих учреждений.

С Невы, как человек, дул ветер. Там гуляли. Гуляли у университета, и у Биржи Томона, и у Этнографического музея, и заслоненного домами адмиралтейства, и у всадника, воздвигнутого Екатериной II.

Екатерина Ивановна и Миша Котиков подошли к окну.

— Как я рада, теперь мы всегда будем говорить об Александре Петровиче, — пробудилась Екатерина Ивановна, облокачиваясь на спинку кресла. — Не правда ли, этот костюм ко мне идет? — и понюхала букетик фиалок.

Бородатые сотрудники Тихого Убежища суетились. Они как муравьи оберегали Тихое Убежище, пополняли его, смахивали пыль, с достоинством показывали приходящим, благоговели перед каждым, кто оказывал какое-либо покровительство или услугу Тихому Убежищу. Здесь возносились хвалы кульминационному пункту поэзии, недостижимому в последующие времена.

За Агафоновым шли влюбленные пары, в различных направлениях, и улыбались, и возвращались, и стояли над Невой, и опять ходили, и опять возвращались. Они улыбались и солнцу, догоравшему на воде, и последним во-

робьям, скакавшим по мостовой, выклевывавшим овес и победно его поднимавшим.

Агафонов, не чувствуя себя, сел на гранитную скамью, вынул листок и карандаш и стал сочетать, как некогда, первые приходившие ему в голову слова. Получилась первая строка. Он сидел над ней и ее осмыслял, затем стал удалять столкновение звуков, затем синтаксически упорядочивать и добавлять вторую строку. Снова, как коробочки, для него раскрывались слова. Он входил в каждую коробочку, в которой дна не оказывалось, и выходил на простор и оказывался во храме сидящим на треножнике, одновременно и изрекающим, и записывающим, и упорядочивающим свои записи в стих.

Гордый, как бес, он вернулся на набережную. Пошел к Летнему саду.

— Я одарен познаниями, — снова думал он. — Я связан с Римом. Я знаю будущее. Меня часто вообще нет, часто я сливаюсь со всей природой, а затем выступаю в качестве человека.

Гордо, и даже слегка нахально, он прошелся по главной аллее Летнего сада. Статуи смотрели на него со всех сторон. Они казались ему розовыми с зелеными глазами, слегка окрашенными волосами.

Цветы на склонах пруда, гранитные вазы, Инженерный замок, на мгновение привлекли его внимание, но он повернул обратно и на скамейке заметил философа, сидящего с полукитайским ребенком. На девочке было светленькое, полукоротенькое пальто и соломенная шляпка. На ногах носочки с цветной каемочкой. На философе было недорогое пальто и недорогая фетровая шляпа. Девочка сосала шоколадку. Философ читал какую-то книгу.

Агафонов медленно прошел мимо. Он боялся, чтобы кто-нибудь не помешал ему, чтобы что-либо не прервало его состояния.

Там, где были некогда сады и бульвары, он чувствовал их и сейчас.

Весь день проходил он.

Наступившая белая ночь, дрожащая, похожая на испарение эфира, все более опьяняла его. Фигуры, достаточно отчетливые, шли по панели. Изредка проносились автомобили с нарядными существами. Затем все смолкло. В окнах некоторых ювелирных магазинов часы показывали точное время. О том, что это точное время, гласили горделивые надписи.

Он вошел в гостиницу.

## Глава XXXII

## Троицын

Шел Троицын, прослезился. Он очень любил Петербург. Для него некогда город был Сирином Райской Птицей, звал его город своими огнями.

Раньше Троицын чувствовал Петербург сказочным городом, русским городом. Чем же Успенский собор в Москве не русский, хотя строил его иностранец? Или св. Софии в Киеве? В Петербурге русские Манон Леско, Дамы с камелиями выходили любоваться на Неву, на плывущие жемчуга.

Здесь сказки Перо и богемная жизнь с гитарами и балалайками. Здесь были маскарады с огнями, подобными яхонтам. Пусть теперь Троицын танцует на балах, пусть он читает на рассвете старые стихи свои подстриженным девушкам и дамам, пусть, подходя к зеркалу и гарцуя, он самодовольно улыбается, но незаметно для всех, в нем умерла Сирин Птица.

Хотя барышня смеялась на балу над Троицыным, она на улице все же согласилась и пошла с ним. Не потому, что он поэт и не потому что ее бросил кто-либо, а потому что, почему же не пойти.

У ней были как пакля волосы, вишневые губки и голубенькие глазки. На ее тощей фигурке болталось коротенькое платье с парчевой грудкой, а на мизинце бутылочным стеклом пустел хризолит.

Троицын не угощал барышень вином, он их не опаивал. Приведет в свою комнату, достанет шкатулку и начнет показывать всякие поэтические предметы. Так было и на этот раз, но все же в комнате было уютно. Во дворе белая ночь, тихая, тихая. По стенам снимки с кремля и Манон

Леско, и гравюра блудного сына. А на постели сидя целует Троицын барышню, и сапоги его стоят у стула, рядом с туфельками барышни.

И заря осветит их головы рядом на подушке с открытыми ртами, тихо похрапывающих в разные стороны и держащих друг друга за руки. И, может быть, во сне она увидит свою семейную жизнь, а — он поля, небольшую речку и себя гимназистом.

В эту ночь смотрел Агафонов из окна гостиницы на просторный проспект, на белую петербургскую ночь. Сел за столик, выпил пивца, положил листок и стал читать свои последние стихи вслух. А когда прочел, то ясно увидел, что стихи плохи, что юношеский расцвет его кончился, что с падением его мечты кончилась его жизнь. Он пососал, неизвестно для чего, дуло револьвера, отошел в уголок комнаты и выстрелил в висок.

Троицын спал в постели с барышней, когда Миша Котиков, бросив все дела, прибежал стучаться. Троицын в наскоро натянутых брючках вышел в прихожую.

— Ах, какое потрясающее происшествие! Сегодня ночью в гостинице Бристоль застрелился последний лирик.

И вдруг заплакал Троицын.

— Всех нас ждет такая же участь. Я ведь тоже последний лирик.

Забыв о барышне, он отправился вместе с Мишей Котиковым в гостиницу.

Поцеловали они покойника в лоб и заплакали, и, сморкаясь, незаметно стянул Троицын галстух и положил в карман, а Миша Котиков вынул из манжет голубенькие эмалированные запонки покойного и спрятал их в портсигар, и спрятав они переглянулись и почувствовали себя несколько удовлетворенными и успокоенными.

И тогда Троицын вспомнил о своей барышне и побежал домой и стал извиняться.

— Какое же это уважение, — сердилась барышня, — оставлять женщину одну?

Но, когда узнала и увидела Троицына плачущим и рассматривающим галстух, то тоже заплакала.

Воскресный день. Утро.

— У меня экзотическая профессия, — говорит Миша Котиков, идя рядом с Екатериной Ивановной по шумящему парку. — Все время приходится возиться с золотом и серебром и даже с жидким серебром. Стоишь и видишь внизу перстень на пальце — изумруд какой-нибудь—и видишь какую-нибудь страну, где все увешано изумрудами — танец живота возникает. Или придет молодой человек с бирюзой на мизинце, подбираешь ему по цвету зубы, а сам думаешь о Персии, о знойных движениях. Я моей мечтой создаю здесь Африку. Неправда ли, я сильный человек, Екатерина Ивановна?

— Только зачем же вы избрали эту профессию?

— Не я ее избрал, она меня выбрала, — покачал головой Миша Котиков.

— Думал я сначала, что это все так, пустяки, временный заработок, вечерние курсы, а потом зубным врачом оказался.

— Мой брат вот сапожник, а какой он сапожник, когда он кавалергард.

И тихо, тихо, по парку идут Миша Котиков и Екатерина Ивановна.

Дорожки Павловского парка тихи и безлюдны. Здесь Миша Котиков когда-то ездил на трехколесном высоком велосипеде.

— Мы, конечно, были угнетатели, — говорит он, и чувствует, что распропагандирован.

И тихо, тихо идут они.

Полдень.

В оживившемся центре города вздыхает Троицын о великой любви Дон-Жуана, смотря на прибывшую весну во двор. Прыгают дети, обрадованные весной.

Он видит как открываются форточки и высовываются сырые детские головы со слабыми волосиками, а затем скрываются. Ручки дверей шевелятся, появляются на нетвердых ногах дети.

День.

Над каналом, против Домпросвета ходит Костя Ротиков по аукционному залу и читает сонник. Две-три фигуры неторопливо прохаживаются и осматривают выставленные вещи.

Листья шумят за стеклом. Белесое небо постепенно темнеет.

Костя Ротиков взглянул на часы — пора закрывать.

Запоздавшие спускаются по лестнице.

Он сходит вниз.

Что-то говорит привратнице.

Он едет в трамвае и думает о том, что жизнь прекрасна, что в общем его работа не тяжела, что в общем даже интересно покупать дешево фарфор и картины, а затем выставлять их в аукционном зале, что случайно им купленная и перепроданная чашечка дает возможность жить.

Он входит в дом и осматривает вещи. Хозяйка, некогда присвоившая фарфор исчезнувших господ, выходит замуж, уезжает, все продает.

— Ну с этой стесняться нечего, — думает Костя Ротиков и покупает несколько безделушек за бесценок.

Ему хочется рассмотреть свою покупку, нюх у него тонкий, он знает, что купил уважаемые всеми вещи. Кладбище недалеко, он расставляет там чашечки и фигурки на скамейке, садится на корточки. Дорогой сакс, — бормочет он,

Птицы заливаются на деревьях.

Он упаковывает. Принимается читать сонник.

Чудно опускает он книжечку на колени и поднимает глаза к птицам, тепло мещаночки поют.

Затем он начинает гулять и рассматривать надгробные памятники и читает эпитафии.

Перед одной он начинает прыгать и ржать.

Твоя любовь была ко мне безмерна,
Я ею наслаждался как супруг.

Вынимает книжечку и записывает.

Вечер.

Ковалев идет с молодой женой в оперетку.

Вчера он встретил Наташу. Наташа уезжала заграницу на два месяца.

«Да, — подумал, — она устроилась.»

По вечерам Миша Котиков рисовал, — ведь рисовал в свое время Александр Петрович. Старался Миша Котиков брать те же краски, писать теми же тонами, по возможности теми же кистями. Они нашлись в комоде Екатерины Ивановны. Кроме того, он добывал заграничные краски у бывших любителей, детей богатых семейств, и по вечерам он сидел с кистью в руке перед мольбертом, а когда уставал рисовать, читал книжки, которые любил читать Заэвфратский. Вся жизнь для него была в образе Заэвфратского.

Чудный вечер.

Солнце садится.

Марья Петровна в избушке на примусе кипятит молоко.

Стрекочут кузнечики. Переливается озеро.

— Нет, хорошо в деревне летом.

Тептелкин с открытым воротом, широкогрудый, сидит в туфлях перед избушкой и чертит палочкой с рукояткой, украшенной обезьянами, на песке какие-то фигуры.

## Глава XXXIII

## МЕЖДУСЛОВИЕ УСТАНОВИВШЕГОСЯ АВТОРА

Я дописал свой роман, поднял остроконечную голову с глазами, полузакрытыми желтыми перепонками, посмотрел на свои уродливые от рождения руки: на правой руке три пальца, на левой — четыре.

Затем взял роман и поехал в Петергоф перечитывать его, размышлять, блуждать, чувствовать себя в обществе моих героев.

От вокзала старого Петергофа я прошел к башне, присмотренной мной и описанной. Башни уже не было.

Во мне, под влиянием неблеклых цветов и травы, снова проснулась огромная птица, которую сознательно или бессознательно чувствовали мои герои. Я вижу своих героев стоящими вокруг меня в воздухе, я иду в сопровождении толпы в Новый Петергоф, сажусь у моря, и, в то время как мои герои стоят над морем в воздухе, пронизанные солнцем, я начинаю перелистывать рукопись и беседовать с ними.

Возвратившись в город, я хочу распасться, исчезнуть, и, остановившись у печки, я начинаю бросать в нее листы рукописи и поджигать их.

Жара.

Я медленно раздеваюсь, голый подхожу к столу, раскрываю окно, рассматриваю прохожих и город и начинаю писать. Я пишу и наблюдаю походку управдома и как идет нэпманша, и как торопится вузовка. Забавляет меня то, что я сижу голый перед окном, и то, что на столе у меня стоит лавр с мизинец и кустик мирта. А между ними чернильница с пупырышками и книги, всякие завоевания Мексики и Перу, всякие грамматики.

— Я добр, — размышляю я, — я по-тептелкински прекраснодушен. Я обладаю тончайшим вкусом Кости Роти-

кова, концепцией неизвестного поэта, простоватостью Троицына. Я сделан из теста моих героев, и я тут же на столе принимаюсь варить шоколад на примусе — я сладкоежка.

В своей квартире из двух комнат я хожу весь день голый (аттические воспоминания) или в одной рубашке, туфли ношу монастырские, бархатные, тканые золотом.

Кончив варить и напившись, я перетираю книги и, перетирая, между прочим, читаю их, сегодня одну, завтра — другую. Сейчас десять строчек из одной, через несколько минут — несколько строчек из другой. Сейчас из политики по-французски, затем какое-нибудь стихотворение по-итальянски, потом отрывок из какого-нибудь путешествия по-испански, наконец какое-нибудь изречение или фрагмент по-латыни, — это я называю перебежкой из одной культуры в другую.

Я полагаю, что по всей Европе не мало найдется таких чудаков. В общем я доволен новой жизнью, я живу в героической стране, в героическое время, я с любопытством слежу за событиями в Китае.

Если Китай соединится с Индией и СССР, не сдобровать старому миру, не сдобровать.

Иногда я смотрю на свои уродливые пальцы и удовлетворенно смеюсь: —

— Ведь вот, какая я уродина!

Руки мои всегда влажны, изо рта пахнет малиной. Ношу я толстовку, длинные немодные брюки, на пальце кольцо с бирюзой, люблю я это кольцо как безвкусицу. Иногда я ношу модный костюм, желтые ботинки и часы с браслеткой.

Я люблю также пряники с сахарными, в коротеньких юбочках фигурами, реминисценции классического балета, у меня на письменном столе всегда лежит такой пряник с балериной рядом с чернильницей в пупырышках и какой-то голой женщиной, изображающей Венеру, у подножия ее

стоит тарелочка с остатками танагрских статуэток. Тут же дремлет бутылка коньяку и наклоненный сверток с цветными мятными пряниками в виде рыбок, барашков, колец, коньков, которыми я заедаю коньяк.

Моя голая фигура, сидящая на стуле перед столом, пьющая коньяк и заедающая мятными пряниками, уморительна. В жизни я оптимистически настроен. Я полагаю, что писание нечто в роде физиологического процесса, своеобразного очищения организма. Я не люблю того, что я пишу, потому что ясно вижу, что пишу с претензией, с метафорой, с поэтическим кокетством, чего бы не позволил себе настоящий писатель.

То, что моих произведений почти не печатают, меня нисколько не смущает. В прежние времена меня тоже бы не печатали.

Ведь вот, возьмем Англию, — углубляюсь я в вопрос, — там настоящих писателей тоже не печатают, разве два-три друга издадут изящную книжечку в 200 экземпляров со всякими намеками на неизвестные тексты, да ее тоже никто не читает. Все заняты фокс-тротами и чтением эфемерных романов.

Я мог бы жить не плохо, на средства, получаемые от разных профессий, еслиб не мое любопытство. Люблю я походить, посетить театры и зрелища, клубы, послушать музыку на концертах, поездить по окрестностям, профокстротировать, усадить девушку на диван, почитать ей свои отрывки, не потому, что считаю, что мои отрывки прекрасны, а потому, что считаю, что лучших произведений в городе не существует и потому что мне кажется, что девушка в них ничего не поймет, потому что мне приятно быть непонятым, а затем отправиться с ней куда-нибудь, присоединиться вместе с ней к другой девушке, почитать им вместе мои отрывки.

На сон грядущий, каждый вечер, когда я бываю дома,

я читаю или перечитываю какой-либо пасторальный роман в древнем французском переводе, ибо мне иногда кажется, особенно по вечерам, что я мыслю не по-русски, а по-французски, хотя ни на одном языке, кроме русского, я не говорю, иногда я загибаю такую душевную изящность, такую развиваю тонкую философскую мысль, что сам себе удивляюсь.

— Я это написал или не я? И вдруг подношу свою руку к губам и целую. Драгоценная у меня рука. Сам себя хвалю я. В кого я уродился, никто в моей семье талантлив не был.

## Глава XXXIV
## Портфель

Еще зимой в определенный день, в определенный час состоялось собрание членов Жакта на квартире у железнодорожного служащего; в определенный час явился районный инструктор.

Тептелкин предчувствовал несчастье и не хотел итти. Но его так долго уговаривали интеллигентные жильцы дома, что он решил пожертвовать собой, пойти и на все согласиться.

Уже задолго до дня собрания население дома шушукалось по квартирам и под воротами. Тептелкина надо выбрать председателем, он культурный человек, он не вор.

До глубокой ночи затянулось собрание. Долго Тептелкин отказывался, охваченный тоской. Наконец портфели были распределены. Портфель председателя был вручен Тептелкину, затем перешли к пожеланиям. Все пожелали, чтоб при доме был устроен красный уголок и стали спорить о квартире, где он должен быть устроен. Выделить ли комнату рядом с дворницкой или устроить в одной из коммунальных квартир. Не могли доспориться и занесли в протокол, как пожелание. Все время районный инструктор, бывший военмор, разъяснял, пояснял и был доволен. Он был доволен, что его слушают и ему доверяют, и жильцы дома были довольны, что их слушают и им доверяют. Ушел инструктор в самом лучшем настроении, и жильцы расходились в самом лучшем настроении. Они спускались по лестнице. Впереди шел официант, новый секретарь Правления; за ним члены новой ревизионной комиссии — швейцар при одной иностранной фирме, счетовод и доктор. Позади них шел народ, позади народа Марья Петровна и

поправляющий пенснэ Тептелкин. Во дворе все стали прощаться друг с другом: некоторые целовали ручки дамам, другие пожимали, третьи спешили, приподняв шляпу. Вокруг кричали кошки, а сверху небольшая луна освещала широкий двор.

Еще в последних числах июня, сидя в садике, устроенном им вместе с Марьей Петровной, Тептелкин чувствовал, что вся всемирная история ничто иное, как его история. Садик был прекрасен. Он занимал небольшое пространство во дворе у красной кирпичной стены и был создан руками супругов. В прошлом году весной подрезали деревья недалеко от зоологического сада, и, увидев это, Марья Петровна вспомнила, что если ветви, только-что срезанные, посадить, то они пустят корни.

Вместе с Тептелкиным она взяла две большие ветви, Тептелкин был уже председателем домового управления. Ветви принялись. Супруги соорудили небольшой забор из деревянных перекладин, сами его покрасили масляной краской в зеленый цвет, утоптали малюсенькие дорожки, разрыхлили землю и обложили ее дерном. Для этого они специально ездили за город. Поставили столик и скамейку, посадили незабудки, анютины глазки, устроили даже миниатюрный газон. Один ключ от садика находился у Тептелкина, другой у управдома или дворника, чтобы жильцы, когда пожелают, могли посидеть в садике. Но тихие жильцы того дома, уважая чужой труд, или, может быть, презирая такой малюсенький садик, более похожий на террариум, никогда не входили в него.

Марья Петровна с лейкой каждое утро спускалась и поливала цветы, Тептелкин вечерком сидел в нем без шляпы, иногда они даже обедали в нем. Тогда Тептелкин сидел за столиком, накрытом белой скатертью, а Марья Петровна спешила сверху по лестнице с дымящейся миской, и играющие во дворе дети с любопытством смотрели. Теперь Теп-

телкин уже совсем умиротворился и прогуливался по садику, если можно так выразиться, собственно он мог в нем еле-еле повернуться.

Так наступила самая страшная ночь для Тептелкина, когда он чувствовал, что культура, которую он защищал была не его, что он не принадлежал к этой культуре, что он не принадлежал к миру светлых духов, к которым он причислял себя до сих пор, что ничего ему не дано сделать в мире, что пройдет он как тень и не оставит по себе никакой памяти или оставит самую дурную. Что все конторщики так же чувствуют мир, лишь различно варьируя, что нет бездны меж ним и бухгалтером, что все они в общем говорят о культуре, к которой они не принадлежат. И на каком-нибудь концерте заезжего дирижера нечто мутное струилось по щекам Тептелкина, но не от музыки он плакал. Хотел бы он навсегда остаться юношей и смотреть на мир в удивленьи. И, когда казалось ему, что нет разницы между ним и скулящим обывателем, тогда он делался сам себе противен, и тогда тошнило его, и он беспричинно злился на Марью Петровну и даже иногда бил тарелки.

Марья Петровна страшно заботилась о Тептелкине. Она следила, чтобы он вел только нужные знакомства.

— Мы ведем только нужные знакомства, — иногда говорила она. — Ведь ненужные — не нужны. Не правда ли?

И Тептелкин, помолчав, отвечал обычно, шевельнув губами:

— Да, ненужное — не нужно, конечно.

И хотя почти не верил в загробное существование, сон Сципиона был для него пленителен; музыка пела и рвалась и падала каскадами, и хотя он чувствовал, что его любовь к Возрождению смешна и необоснована, он никак не мог расстаться, порвать с широтой горизонта.

Спешит лысый в книжный магазин, как за водой живой.

— Неправда ли, Марья Петровна, мы не можем жить без Цицерона, — говорит он и греет ноги у кафельной печки. А огонь трещит, трещит.

Когда уходила в гости Марья Петровна, Тептелкин страшно волновался: — а вдруг она под трамвай попадет. А вдруг она почему-либо раньше из гостей уйдет, и на нее нападут грабители. Ведь у нее сердце слабое, очень слабое.

Не только по вечерам, но и днем волновался Тептелкин. Стоит у окна, стоит и ждет. Иногда даже доставал старенький бинокль из высокого черного комода и смотрел из окна вниз на улицу, даже толпу глазами прощупывал, не идет ли за толпой Марья Петровна. Все беспокоится. Видит, Марья Петровна торопится, а у ней какой-нибудь сверток под мышкой.

И вот на лестнице уже слышны шаги, топ, топ, и газета в руках, плохая, конечно, газета, с ругательствами, да и везде вообще теперь на свете плохие газеты. И начнет Тептелкин газету читать, и взгрустнется ему, что в Мексике, когда генерала вешали, военный оркестр играл, а другие генералы и народ мороженое кушали. И не потому только, что генерала вешали, а потому что вешанье сопровождалось музыкой, гуляньем народным и едой мороженого. Или еще прочтет, что Авиохим организует мушиную кампанию, и поразится бедности человеческих дел. Или что завтра открывается трехдневная выставка и конкурс пения канарей или что в какой-то провинциальный кооператив привезли вуаль к зимнему сезону вместо мануфактуры. Забудет Тептелкин, что вся жизнь его сплошная неурядица, беспокойство и метанье, погрузится в вечный вопрос о соотношении великого и малого, но уже готов обед, скромный обед, и уже в кастрюле суп подается, и уже Марья Петровна хлопочет и суповую ложку опускает и тарелки перетирает. Садится и спрашивает: — Вкусно? — и дует на ложку и улыбается.

— Корешки-то я поджарила, — говорит она: — смотри, какой цвет у бульона!

Но сегодня обед был великолепен. На второе была уточка с брусничным вареньем, а на третье — печеные яблоки. А после обеда встала Марья Петровна и говорит:

— Что я для тебя достала! Иду по рынку и вижу книжечка «Поль и Виргиния» с гравюрами.

И садятся они рядом, пьют чай и рассматривают гравюры.

Первое детство. Сидят две матери с грудными младенцами, между двух хижин. Верная собака лежит у колыбели, а вдали пальмы и горы.

Второе детство. Маленькие дети идут под дождем, накрывшись юбкой, а к ним спешит молодой человек босой, элегантный, в широкополой шляпе.

Вот плантатор бьет раба палками, а Поль и Виргиния умоляют не бить.

И вспоминает Тептелкин статью добряка Маколея о неграх, еще в детстве прочитанную. И чувствует он, что в прошлом у него были высокие порывы, и возвышенное празднество духа, и стремление к чему-то до-нельзя прекрасному: и опять идут картинки.

Тептелкин сидел в своем кабинете-садике. Небо ли слишком ясное, или Марья Петровна, выпустившая из дровяного сарая коз погулять во двор, или иное какое-либо явление, или какой-либо разговор, бывший у него с Марьей Петровной, до ее появления во дворе, но только Тептелкин сидел в своем кабинете-садике, опустив книгу, и не мог сосредоточиться. Трудно сказать, думал ли в этот момент Тептелкин. Еслиб его в этот момент спросили, то он не сразу бы ответил, а подумал бы, о чем собственно он думает, и с горечью должен был бы констатировать, что ни о чем он не думает. Ассоциации сменялись ассоциациями, то

солнце ему напоминало арбуз, то цветы на кофточке Марьи Петровны напоминали ему пароход, то козел, бодавший кирпичную стену, вызывал в нем неотчетливое представление о другом козле. И Тептелкин время от времени вставал со скамеечки, опирался на забор, поводил носом и шевелил губами:

— Я нечто предчувствую.

И с сознанием собственного достоинства, многозначительно смотрел на проходивших мимо садика. И Марья Петровна, обняв козла, бежала с козлом по двору к садику, и Тептелкин, несколько отойдя от своих возвышенных переживаний и от растворения в природе, от поглощения космосом, выходил из садика и, перекинувшись двумя-тремя словами с Марьей Петровной, выходил за ворота на улицу.

Выйдя из подобного состояния, ощущал Тептелкин сладчайшую прелесть мира. Ему казалось, что и солнце светит ярче, да и все в мире более ярко, да и он сам человек возвышенный, достойный во всех отношениях. И тогда сострадание к живым существам охватывало его, и он прощал недостатки всем другим, и безграничная любовь его к Марье Петровне пылала и он говорил: — Марья Петровна, не пойти ли нам поискать игрушек! — И тогда важно он шел по улице с Марьей Петровной, подходили они к витринам игрушечных магазинов, и, остановившись, Марья Петровна прикладывала носик к стеклу, и входили они в магазин.

— Вам для какого возраста? — спрашивал приказчик.

— Нам нужны художественные игрушки, — отвечал Тептелкин.

И, склонившись над прилавком, Марья Петровна и Тептелкин начинали выбирать игрушки.

— А нет ли деревянной птички, — спрашивала Марья Петровна. — Или деревянного льва с условной гривой?

— А что ж я не вижу у вас Матрешек? — перебивал Тептелкин.

И, принеся игрушки домой, супруги сообща любовались ими.

Но иногда Тептелкин, сидя в садике, замечал, что Марья Петровна стареет, что у нее уже не такой чистый цвет лица, что ей совсем не хочется гулять. Что она говорит: — ты уж один пройдись, подыши чистым воздухом, а я тем временем обед для тебя приготовлю. Хочешь, раковый суп я для тебя приготовлю?

И тогда Тептелкин привлекал к себе Марью Петровну и, приложив нос к носу, смотрел в ее глаза, и Марья Петровна молоденькая, совсем молоденькая шла по парку, как Диана, совсем как Диана.

## Глава XXXV

## Смерть Марьи Петровны

Марья Петровна вышла из дверей огромного, изнутри освещенного люстрами, лампадами и свечами здания, похожего не то на перечницу, не то на письменный прибор, расстегнула жакетку и вынула сплющенный китайский фонарик, расправила его, встала между колонн и, защищая огонь от ветра, вставила свечку в фонарик.

Часть толпы направилась к проспекту 25-го Октября, часть пошла по проспекту Майорова. Некоторые, в том числе Марья Петровна и Тептелкин, направились по Галерной к мосту лейтенанта Шмидта. Высохшие от морозца улицы отражали звездное небо, с крышки чернильницы доносился колокольный звон, дрожащие огни свечечек освещали лица, руки, улицы, улички и переулки, и Марье Петровне, утратившей религиозное чувство, казалось, что она участвует в карнавальном шествии. Не будучи уже христианкой, она любила церковь за обряды, как архаический театр и условное представление. По тем же соображениям она предпочитала церковь Тихона живой церкви. Она считала, что возвышенное представление требует особого языка и некоторой непонятности, в то время, как живая церковь, не поняв этого, стремилась к опрощенству, тем самым уничтожая психическую рамку, низводила высокое действие на степень быта. В искусстве должен быть момент иррационального. — Так думала Марья Петровна, идя со своим мужем по мосту лейтенанта Шмидта и держа фонарик как участница возвышенного театрального действа.

Тептелкин тоже нес зажженную свечку в картузе из вчерашней вечерней «Красной Газеты». И, расплываясь в мечтах, уносился в свое детство. Он видел себя в гигиенической комнате, окрашенной масляной краской, икону

св. Пантелеймона с малиновой многогранной лампадкой. Охраняя огонек, свернул Тептелкин на 1-ю линию Васильевского острова, а Марья Петровна, смотря в фонарик и приняв чужую спину за спину своего мужа, свернула в другую сторону. И вдруг почувствовала, что кричать надо. Изнутри тянуло, качало, вокруг было жарко, веки не размыкались и, удерживая тошноту, услышала голоса:

— Топай в аптечку, доложи штурману — человек за бортом был.

И в отдалении другой голос:

— Только-что вошел по трапу на палубу, слышу крик што-ли, смотрю — человек за бортом, я сиганул в воду, зюдвестку по боку, дождевик тож, а вода-то, мать честна, холодна. Насилу выбрался, груз-то велик, может, она и мало весит, да знатна, судорога прихватила.

— Сидим мы это самое, скучаем, как бы бутылочку раздавить одну, другую. Сережка бултыхается, смотрю и думаю — тащить надо. Смотрю за волосы бабу волокет, рыбу-кит тащит. Ой пожива, думаю, во христово воскресение; саданул стаканчик водки, пыхтеть начал, зарумянился, поди, что святое крещение принял, иорданское.

Марья Петровна приподняла тяжелую голову и обвела глазами. Два человека, баня, остальные в дверях, в полосатых теляшках, иллюминатор сверху втягивает воздух, какой-то человек фонарь идет заправить на корму.

— Вишь, гляделки открыла, отдай иллюминатор; вирай ее на воздух.

Закутали они Марью Петровну. Матросы хотели проводить ее, но она пошла одна. И уходя, слышала:

— Кипяточку наладили, в камбузе чайку подзаварили, напоили бабаньку, отойдет чего, бывают в жизни огорченья, похрипит, покашляет, воспрянет.

Тептелкин между тем то бегал по улице, то забегал домой. Марьи Петровны все не было. Он уж раз пятна-

дцать сбегал к Исаакиевскому собору, уж много раз стоял то на одном конце моста лейтенанта Шмидта, то на другом, иногда останавливался у двух сфинксов, смотрел на черную полоску воды между берегом и льдом, предчувствие сжимало его сердце.

— Боже мой, где же она? Где же? — плакала его душа.

И скакал он и торопился по снегу, и когда совсем рассвело, в двадцатый раз побежал он по лестнице к своим дверям, увидел: Марья Петровна с повязкой на голове сидит на ступеньке и дрожит в лихорадке. У ней не было цветного фонарика в руках и лицо было страшно бледное, а на голове странно сидела шляпа.

— Деточка, — вскричал он, — что с тобой? — и обхватил за плечи, ввел в квартиру.

Марья Петровна разрыдалась.

Градусник торчал из-под мышки, Марья Петровна лежала на постели. Тептелкин грустный и сосредоточенный ходил по комнате. Небритое лицо его дрожало.

«Как быстро уходит семейное счастье, — думал он: какой-нибудь пустяк, случай, может разрушить его».

Ему жалко было, что вот молодая жизнь уходит так бесцельно.

— Марья Петровна, — садился он на стул и брал ручку Марьи Петровны.

— Сокровище мое, — раскрывала глаза Марья Петровна: — милое сокровище мое, ухожу я от тебя, и что совсем странно было — она действительно ушла.

Это сопровождалось странными явлениями. Она просила, чтоб Тептелкин на руках носил ее по комнате. Он подносил ее к каждой вещи, и она, одной рукой обняв его за шею, другой ощупывала предметы, ножечки для разрезания книг, книжечки, спинки стульев, цветы на окошке, занавеску, пепельницу с цветочками, затем она требовала,

чтобы он вращал ее, ей не хватало воздуха. Тептелкин был бледен; он исполнял ее требования, вращал ее и вращался сам. Напротив из двух труб, прикрепленных к балкону, неслась радио-газета, что было затем, Тептелкин потом никак вспомнить не мог, потому что он заметил, что Марья Петровна успокаивается. Он осторожно уложил ее в постель и сел рядом и стал смотреть на скляночки, на абажур лампы, на освещенное личико, заметил, что пыль осела на скляночках, и стал перетирать скляночки, лампу со всех сторон окружил бумагой, оставил только узенькую щель, чтобы свет падал в сторону. Поцеловал Марью Петровну в лоб и сел на подоконнике. И стал смотреть на свой садик во дворе, покрытый хлопьями снега. В дремоте ужасало Тептелкина то, что все говорят о гниении, а никто не говорит о возрождении. Ночью он поднялся со стула, сел на подоконник. Вселенная, чуткий сад, где бродят Данте и Беатриче, не является ли некая жена путеводной звездой для человека, и не открываем ли мы своей жене некий образ, явившийся нам в детстве, удивительно гармонический? Еще размышлял Тептелкин, что жизнь супругов была бы невозможна, и на цыпочках, огромный и печальный прошел он в соседнюю комнату и стал читать свою рукопись. И начало его мучить несоответствие его фигуры идеальному образу, худоба мучила его, по его мнению она мешала ему стать героическим.

— Что бы было, думал он, еслиб у меня были мускулы, и еслиб затем у меня было аскетическое лицо, и еслиб я носил вериги, и, освещенный луной Тептелкин возвел горе очи, и еще большая печаль овладела им. — Что бы было, подумал он, еслиб моя фамилия была бы не Тептелкин, а совсем иная. Два слога теп-тел несомненная ономатопия, слово кин могло бы быть зловещим в роде кинг, но этому мешает консонантная «л», а еслиб здесь было слоговое «л», то получилось бы Тептеолкин, это было бы страшно за-

унывно. Господи, — выпрямился Тептелкин, опуская книжечку. — Никто не думал о Возрождении, только я. За что же такая мука! — и опять он провалился в реальность.

Он вспомнил, что та ночь была донельзя тихая, что, ища Марью Петровну, он оказался у сфинксов, что феерические чудовища напоминали ему другие ночи — египетские, даже тогда. И, положив книгу, он вошел в соседнюю комнату. Марьи Петровны не было в постели. Он огляделся. Марья Петровна без посторонней помощи двигалась ощупью по комнате и садилась на все, на чем посидеть можно. Она садилась и на стулья, и на стол, и на подоконник, и на сундучок, прикрытый зеленой плюшевой скатертью.

— Марья Петровна, — бросился к ней Тептелкин. — Не покидай.

Заплакала и закашлялась Марья Петровна в его руках. И чувствовал Тептелкин, как она хрипит все тише и тише, и почувствовал он, что в руках у него тяжелое и еще чуть теплое тело. И, не удержавшись, сел на стул, но не выдержал стул тройной тяжести, и сел он (Тептелкин) на пол.

Уже розовый румянец играл на щеках того, что было Марьей Петровной, а руки бессильно болтались и остановившиеся глаза смотрели в потолок, а нижняя челюсть отвисала и белое лицо Тептелкина смотрело в окошко. Как корнет Ковалев почувствовал он, что действительно мир ужасен, и что он один, совершенно один в нем.

Когда поздно ночью, как обычно, пришел доктор, он нашел розовую покойницу в белом платье на постели и Тептелкина с шляпой и с чемоданом в руках.

Когда шел в предрассветной тоске Тептелкин, ему улыбнулся голубь, белая птица с подпалинами повернула шейку и посмотрела круглыми глазом на него.

— Ах ты мой голубь, — остановился Тептелкин, — мой милый голубь, — и пошел за голубем, и голубь, важно ступая, шел по мостовой, и Тептелкин следовал за ним —

вот вы вернулись опять сюда, мирные птицы. А я другой уже, совсем другой человек. Нет больше того, кто думал озарить любовью город, другой среди вас стоит, милые птицы.

И голуби, полагая, что он сейчас начнет кормить их, слетали с карнизов и собирались стайками и друг с другом беседовали.

И освещенный солнцем Казанский собор, и небольшой скверик с одинокими фигурами, слегка озябшими, и еще сырые от росы скамейки, звали Тептелкина растянуться и, подложив руки под голову, вздремнуть среди прохаживающихся птиц. И небо, сладчайшее петербургское небо, бледненькое, голубенькое, слабенькое, куполом опускалось над Тептелкиным, забывши и то, что он уж лыс, и то, что он уж совсем одинок.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Автор все время пытался спасти Тептелкина, но спасти Тептелкина ему не удалось. Совсем не в бедности после отречения жил Тептелкин. Совсем не малое место занял он в жизни, никогда его не охватывало сомненье в самом себе, никогда Тептелкин не думал, что он не принадлежит к высокой культуре, не себя, а свою мечту счел он ложью.

Совсем не бедным клубным работником стал Тептелкин, а видным, но глупым чиновником. И никакого садика во дворе не разводил Тептелкин, а напротив — он кричал на бедных чиновников и был страшно речист и горд достигнутым положением.

Но пора опустить занавес. Кончилось представление. Смутно и тихо на сцене. Где обещанная любовь, где обещанный героизм? Где обещанное искусство?

И печальный трехпалый автор выходит со своими героями на сцену и раскланивается.

— Смотри, Митька, какие уроды, — говорит зритель: — ну и ну, экий прохвост, какую похабщину загнул.

— Ах ты ужас какой, неужели все такие люди? Знаете, Иван Матвеевич, в вас есть нечто Тептелкинское.

— Уж я разделаюсь завтра с ним. Уж я подведу под него мину. Уж я...

Автор машет рукой, — типографщики начинают набирать книгу.

— Спасибо, спасибо, — целуется автор с актерами.

Снимает перчатки, разгримировывается. Актеры и актрисы выпрямляются и тут же на сцене стирают грим.

И автор со своими актерами едет в дешевый кабачок. Там они пируют среди бутылок и опустошаемых стаканов. Автор обсуждает со своими актерами план новой пьесы, и они спорят и горячатся и произносят тосты за высокое

искусство, не боящееся позора, преступления и духовной смерти.

Уже наборщики набрали половину «Козлиной песни» и автор со своими настоящими друзьями выходит из кабачка в прелестную петербургскую весеннюю ночь, взметающую души над Невой, над дворцами, над соборами, ночь шелестящую, как сад, поющую, как молодость, и летящую, как стрела, для них уже пролетевшую.

# ОГЛАВЛЕНИЕ.


2015188701